

КНИГА

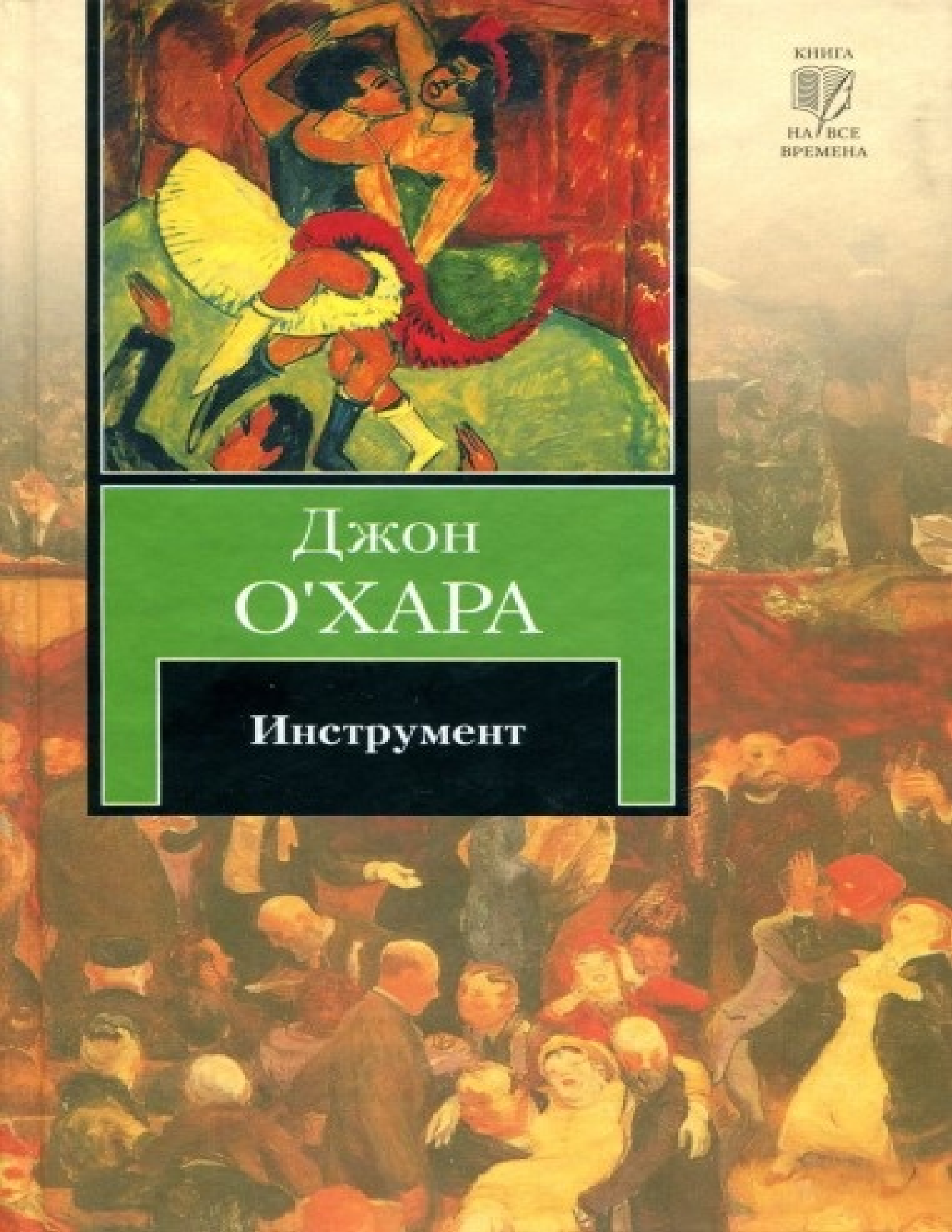


НА ВСЕ
ВРЕМЕНА



ДЖОН О'ХАРА

Инструмент



Annotation

Бродвей 60-х — и новоанглийская провинция с ее мелкими интригами и большими страстями...

Драма духовного кризиса талантливого писателя, пытающегося совместить свои представления об истинном искусстве и необходимость это искусство продавать...

Закулисье театрального мира — с его вечным, немеркнущим «костром тщеславий»...

Любовь. Ненависть. Предательство. И — поиски нового смысла жизни. Таков один из лучших романов Джона О'Хары — роман, высоко оцененный критиками и вошедший в золотой фонд англоязычной литературы XX века.

- [О'Хара Джон](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
-

О'Хара Джон
Инструмент

I

Поздно ночью Янка Лукаса сморило, и он заснул, а газ остался гореть. Он подогревал воду для кофе, вода, закипев, убежала, залила огонь, и газ разошелся по всей кухне. Через несколько минут запах газа проник из-под входной двери на лестницу. Поднимаясь к себе наверх, Жук Малдауни потянул носом и понял, что несет из квартиры Янка. Он не был знаком с Янком Лукасом, не знал даже, как его имя, фамилия, не представлял себе, кто занимает эту квартиру, не желал впутываться в историю. Жильцы этого дома не любили соваться в чужие дела. Но, поколебавшись минуту-другую, Жук все же постучал в дверь, ответа не получил, тронул ручку и убедился, что дверь не заперта. Он вошел и увидел Янка Лукаса, распростертого на полу кухни.

Жук распахнул одно окно, второе, подтащил Янка к подоконнику, приподнял его и привалил спиной к стене. Потом выключил газ. Теперь надо было вызвать полицию. Так полагалось. Но Жук недолюбливал полицейских. Даже в такой ситуации ему требовалось подумать, стоит ли связываться с ними. Он высунулся в окно и подышал свежим воздухом. Из открытых окон в квартире сильно дуло; ночь была холодная, ветреная. Чтобы выстудить кухню, много времени не понадобилось, но квартиру следовало хорошенько проветрить, а Жуку следовало хорошенько подумать. Сопоставляя факты, Жук отметил, что на кухонном столе стоит початая банка с кофе, а кофейник весь залит гущей. Человеку, который собирался отравиться газом, вряд ли захотелось бы выпить сначала чашку кофе. Люди, кончающие с собой таким способом, обычно отворяют дверцу духовки и поворачивают кран, только и всего. Следовательно, все говорило о том, что этот человек не пытался отравиться, и Жук положил его ничком на пол, опустился рядом с ним на колени и стал делать ему искусственное дыхание. Он подсунул обе руки человеку под грудь и начал приподнимать и опускать его — вверх-вниз, вверх-вниз.

Ничего другого об искусственном дыхании Жук не помнил, но и этого оказалось достаточно. Человек пробормотал:

— Хватит, слышишь? — Слова прозвучали невнятно, но смысл их был ясен.

— Ладно. Хватит так хватит, — сказал Жук и встал с колен.

Человек лежал на полу, но по крайней мере он очнулся и приходил в себя. Жук вынул сигарету из пачки и хотел было закурить, но вспомнил,

что этого сейчас делать нельзя. Человек перевернулся на спину и посмотрел на Жука. Он хотел что-то сказать — и не мог. На минуту сознание опять покинуло его, потом он открыл глаза.

— Холодно, — сказал он.

— Да, но дышать-то тебе надо, — сказал Жук. — Я говорю, свежий воздух тебе нужен.

— Холодище собачий... — сказал Янк Лукас. — Тошнит.

— Ты живой, хватит скулить, — сказал Жук. Он сел на единственный в кухне стул и покрутил пальцами незакуренную сигарету. Потом встал, намочил холодной водой посудное полотенце и приложил его Янку к лицу. Янк отшвырнул полотенце, но оно возымело свое действие.

— Ты кто такой? — сказал Янк.

— Малдауни, из верхней квартиры, — сказал Жук.

— Ну и проваливай к чертовой матери, — сказал Янк Лукас.

— Вот скотина неблагодарная, — сказал Жук. — Бросить тебя надо было, пускай бы валялся тут.

— Да ты кто такой?

— Я спас твою поганую жизнь, вот я кто такой, — сказал Жук.

— Жизнь мне спас, — сказал Янк Лукас. Он приподнялся и сел, опираясь рукой об пол. Потом медленно обвел глазами кухню, и его всего передернуло. — Холодище собачий, — сказал он.

— Не проходи я мимо, ты бы совсем окоченел, — сказал Жук.

От перемены положения Янк Лукас закашлялся.

— Слабость какая, — сказал он. — Газом несет.

— Ишь какой понятливый, — сказал Жук.

— Да ты кто такой?

— Я Джон Дж. Малдауни, эсквайр, — сказал Жук. — Сообщить тебе, под каким я номером числюсь? Предъявить профсоюзный билет? Дыши ровнее и не трать дыхания попусту. Мне спать охота.

— Вон чего тебе охота!

— Дать бы тебе в зубы, — сказал Жук. — Первый раз в жизни встречаю такую неблагодарную скотину. Попадались мне психи, подонки, но ты их всех за пояс заткнул.

— Какого черта ты здесь делаешь?

— Что я здесь делаю? Вопрос в точку, — сказал Жук. — Не волнуйся. Как только ты сможешь встать, я отсюда сметаюсь!

Янк Лукас посмотрел на банку с кофе, потом на плиту. Он начинал сопоставлять кое-какие данные.

— Ну, соображаешь, что к чему? — сказал Жук.

Янк Лукас кивнул:

— Угу.

— Помаленьку, — сказал Жук.

— Ты почуял запах газа?

— Помаленьку сообщает. Да, я почуял запах газа.

— Я поставил кофейник на плиту. Потом сел к столу на минутку.

Наверно, заснул. — Янк Лукас говорил сам с собой. Он посмотрел на свои ручные часы. — Двадцать пять пятого или двадцать минут шестого. Не разберу.

— Правильно, двадцать пять пятого, — сказал Жук.

— Давно ты здесь?

— Да, пожалуй, с полчаса, может, немного больше, — сказал Жук.

— Выпить хочешь?

— Еще бы, — сказал Жук. — Где взять?

— В той комнате, — сказал Янк Лукас.

— Я принесу, — сказал Жук.

Та комната оказалась в квартире единственной, если не считать кухни и ванной. В ней Жук увидел постеленную на ночь оттоманку, несколько стульев, письменный стол, портативную машинку, груды книг на полу, бутылку джина, бутылку дешевого виски и бутылку водки местного производства. Жук выбрал виски.

— Не знаю, тебе можно или нельзя, — сказал он. — По-моему, не стоит.

— Я не хочу. Вывернет тут же, — сказал Янк Лукас. — Разве стакан молока выпить.

— И этого не удержишь, — сказал Жук.

— Да, пожалуй, — сказал Янк Лукас.

— А если подлить в молоко виски, может, сойдет? Ну как, попробуешь?

— Я что угодно попробую, лишь бы избавиться от вкуса газа во рту, — сказал Янк Лукас.

Жук влил немного виски в полстакана молока и протянул стакан Янку Лукасу. Желудок Янка принял это питье, но ненадолго. Пока Жук пил виски с водой, Янк успел сходить в ванную, там его вырвало.

— Ну что ж, по крайней мере двигаться можешь, — сказал Жук.

Янк Лукас вышел из ванной, трясая головой и отирая лицо махровой рукавичкой.

— Плохо дело, — сказал он.

— Есть у тебя какой-нибудь знакомый доктор поблизости? — сказал

Жук.

— Нет, — сказал Янк Лукас. — Я не знаю ни одного доктора во всем Нью-Йорке.

— Если не по знакомству, так среди ночи его на веревке сюда не затащишь.

— Ничего, пройдет, — сказал Янк Лукас. — Я должен принести тебе извинения.

— А я должен бы набить тебе морду, так что мы квиты. Ну и виски! Горлодер. Если ты такое потребляешь, немножко газа тебе не повредит.

— Я виски не пью. На водку налегаю, — сказал Янк Лукас. — Выпей водки. Виски я держу для одной приятельницы. Она его любит.

— Да, есть такие девки, что угодно вылакают. Ладно, попробую. Ты писатель?

— Да, как будто, — сказал Янк Лукас.

— Книжки пишешь?

— Нет, пьесы, — сказал Янк Лукас.

— Надо мной живет девка, так она писательница. Мне слышно, как она стучит на своей окаянной машинке.

— Она не писательница. Она машинистка. Печатает рукописи, получает постранично.

— Вон оно что! А я-то удивлялся: черт возьми, с девяти утра, а то и раньше. И круглый день. Если бы столько насочинять, поди на миллион потянет. Шпарит без остановки.

— Бывает и остановка, когда рукописей нет, — сказал Янк Лукас.

— Да. А еще ей надо валяться с тем жуком, который у нее живет, — сказал Жук. — Меня тоже вот Жуком прозвали. Но я бы с ней нипочем не лег. Ты хоть раз на нее взглянул?

— Видел, — сказал Янк Лукас.

— Здорово должно приспичить, чтобы на нее позариться, — сказал Жук. — Бывает, конечно, что и с такой можно. Да, кое-когда бывает.

— Например, в армии, — сказал Янк Лукас.

— Н-да... Хотя я, собственно, не армию вспомнил.

— Тюрьму?

— А что же еще? В армии меня только на базах разбирали, когда не с кем было. Страшное дело, бывает, уж так приспичит, хватаешь что под руку попадает. Ну, как тебе?

— Лучше, — сказал Янк Лукас.

— На твоём месте я бы сходил завтра утром к доктору. Искусственное дыхание я тебе сделал, но не знаю, правильно или нет. Вот что, вызови-ка

ты свою девчонку, и пусть она побудет тут с тобой до утра.

— Нет уж, только не ее, — сказал Янк Лукас.

— У меня жена дома, раскричится, дура, не знаю как, что я поздно пришел.

— У тебя жена? Никогда не слышал, чтобы она кричала, — сказал Янк Лукас.

— Ну что ж, твое счастье. Ты вообще, я вижу, счастливчик.

— Я догадывался, что в верхней квартире есть женщина. По шагам. Но она никогда не кричит.

— Да кричит она не так уж громко, зато ругается — только держись. Для затравки обложит матом. Ей, видите ли, интересно посмотреть, сколько она может себе позволить, прежде чем я дам ей в морду.

— Хм.

— Стукач, кричит, педераст, — сказал Жук. — Как только выпалит это, так я сразу ей в зубы.

— И все-таки я ни разу не слышал криков наверху, — сказал Янк Лукас.

— А знаешь почему? Потому что некоторые женщины так уж устроены, вот и она такая.

— Да-да, — сказал Янк Лукас. — Тебе не холодно? Пожалуй, окна можно закрыть?

— Сначала надо проверить, весь ли газ вышел, — сказал Жук. — И вот еще что — управляющий. Тебе ведь совсем ни к чему, чтобы управляющий узнал, как ты тут заснул с невыключенным газом. Он донесет хозяину, и тебя отсюда выпрут. Здесь кто живет? Те, кому больше деваться некуда, и у тебя, надо думать, дела тоже не лучше. Значит, если ты хочешь остаться в этом хлеву, не признавайся управляющему, что не выключил газа.

— Будь покоен, не признаюсь, — сказал Янк Лукас.

— Это же настоящий хлев. И цена немалая. Ты сколько платишь, если не секрет?

— Сто долларов в месяц.

— И я столько же. У меня, правда, две комнаты, зато этажом выше и камина нет. Раньше за такое жилье сорок долларов была красная цена. Я могу сказать тебе все цены на квартиры в этой части города. Мало, что ли, я с этих квартир удирал! — Он вынул последнюю сигарету из пачки в кармане и закурил. — Ой-ой! Видал, что я сделал?

— Закурил сигарету, — сказал Янк Лукас.

— И ничего! А закури я немножко раньше, представляешь себе, что бы случилось? Значит, окна можно закрывать, не опасно.

— Вот именно. Раз уж человека спасли от асфиксии, незачем ему околевать от холода.

— Вот-вот. Я все вспоминал это слово. Асфиксия. Помнил, что начинается на «а» и в середине «кс».

— Аксиома, — сказал Янк Лукас.

— Это что значит?

— Есть такое слово, — сказал Янк Лукас. Он затворил одно окно.

— Дай я второе затворю, — сказал Жук. — Вид у тебя аховый. Кофе не выпьешь?

— Нет, это я хотел выпить, чтобы не заснуть, а теперь спать надо.

— Заваливайся. Окна я оставлю приоткрытыми, чтобы хоть немного свежего воздуха шло.

— Ладно, — сказал Янк Лукас. Он снял рубашку, брюки и башмаки и лег в постель в носках и в нижнем белье. Жук стоял и смотрел на него.

— Я оставлю свет в кухне, на случай если тебя кошмары начнут мучить. Со мной самим эта дрянь случается — не знаешь, где ты, что ты. А уж кошмары будут. Может, не сегодня, но будут.

— Угу, — пробормотал Янк Лукас. Глаза у него закрылись, и он уснул.

Он привык спать, не слыша утренних шумов — уличных грузовиков, громыхающих по Девятой авеню, детского гомона у школ напротив, свистков речных трамваев и буксиров на Гудзоне, трезвона и сирен пожарных машин, а ближе — стука машинки с верхнего этажа и тяжелых неизвестно чьих шагов на площадке. Это были преимущественно утренние звуки, но большинство их слышалось весь день. А тут Янк Лукас открыл глаза и разозлился, но сразу же понял, что шум доходит до него не через уши — это шумит в разламывающейся от боли голове. Ему было трудно дышать. Ломило грудь. Спирало легкие. Потом в его затуманенном мозгу возникли недавние события. Часы на руке показывали без двадцати девять, а может, без четверти восемь.

И он вдруг вспомнил то ли услышанное, то ли прочитанное где-то, что кислородное голодание нарушает функции головного мозга, и эта мысль ужаснула его. Ужас заставил действовать, и он встал с кровати. Он подошел к холодильнику и поискал, нет ли там чего-нибудь такого, что могло бы уничтожить запах газа во рту и в носу. Банка консервированных груш. Томатный сок. Початая бутылка молока. Четвертушка сливок в пакете. Самым надежным показалось молоко, хотя оно почти безвкусное. Он смешал его в стакане с томатным соком — питье получилось острое, однако эта смесь вызвала у него рвоту, и от натуги при рвоте в груди снова заломило. Но как ни странно, это дало нужный результат: вкус и

томительный запах газа исчезли.

Он затворил окна и сел к столу. Голова у него болела, во всем теле была слабость, но он знал, что жить будет. Это было всерьез: жить буду. Так же всерьез, как и раньше: неужели умру? Он не чувствовал ни малейшей благодарности к болвану, спасшему ему жизнь, и не имел никакого желания увидеть и отблагодарить его. Он знал, что еще повидает этого человека и отблагодарит, как полагается. И надеялся, что в его благодарности будет ясно чувствоваться: хватит с тебя. Ему был противен этот человек и весь его облик. Мразь. Скотина и преступник, отсидевший небольшой срок за мелкие преступления. Сутенер, женатый на проститутке. У него лохматые черные волосы с проседью, кустистые черные брови, волосы растут из ушей, кисти рук и короткие пальцы тоже заросли волосами. Пальто на нем было с разношенными петлями, а на голове, как почти у всех здешних ирландцев, кепка. Вот кому Янк Лукас был обязан жизнью, и он подозревал, что этот субъект не даст ему забыть о своей услуге. Он боялся этого человека, боялся его тупости, его дешевого хитроумия.

Янк Лукас пошел в ванную комнату и почистил зубы. Потом подставил зубную щетку под кран, выдавил на нее из тюбика ленточку зубной пасты и снова почистил зубы. Во рту стало легко и прохладно, запах и привкус газа, томатного сока и блевотины исчезли. Он посмотрел на кофейник, поколебался с минуту, сполоснул его под краном, всыпал туда кофе, налил воды и поставил на плиту. Вспомнил, что сначала надо зажечь газовую горелку.

— Теперь уж не засну, — вслух сказал он. Пока кофе закипал, он побрился, побрившись, выпил первую чашку и почувствовал себя гораздо лучше. Голова у него все еще болела, грудь все еще ломило, но он приходил в себя.

Четверть десятого. Эллис Уолтон появляется в своей конторе к одиннадцати часам, во всяком случае, так он говорит. Сегодня он придет в одиннадцать и будет ждать Янка Лукаса к этому часу.

«Я вас не тороплю, Янк, — сказал ему Эллис Уолтон. — По мне, пожалуйста, возьмите еще две недели отсрочки. Но Зена нужна вам не меньше, чем мне, а Зена согласна ждать до пятницы, не дольше. В пятницу вы дадите мне переработанный третий акт, она забирает его, а дальше — как рассудят боги. Зена прочитывает все за субботу, дальше читает ее муженек и вносит свои грошовые поправки, а в воскресенье мы узнаем, кто получает Зену — мы или Дэвид Сэмон. В понедельник она подписывает контракт либо с нами, либо с Сэмоном. Зена мне говорила, что ей хочется

работать со мной, но Сэмон в выгодном положении — установил тесный контакт с ее супругом. Этот Бэрри Пэйн ухитрился так ее окружить, что она без него шагу не сделает. Через год дела, может, пойдут по-другому, но теперь все в руках Бэрри Пэйна. Я, наверно, требую от вас невозможного, Янк. Поднажмите и кончайте к пятнице, и даже тогда я не могу обещать вам Зену. Но пусть я буду сукиным сыном, игра стоит свеч».

«Что ж, попробую, — сказал Янк Лукас. — Я понимаю, что Зена значит для пьесы».

«Вот попомните мое слово: если в очередном номере „Таймса“ напечатают, что Зена подписала со мной контракт, моя контора превратится в сумасшедший дом. Театральные антрепренеры. Кинокомпании. И вы будете ставить свои условия. С актрисой такой марки, как Зена, пьеса может провалиться, только если это уж совсем дерьмо, а ваша вещь не дерьмо. Я целиком полагаюсь на вашу пьесу, Янк. Целиком. Там, где другой актрисе пришлось бы из кожи вон лезть, Зена Голлом в теперешней ее форме не подведет. Я не утверждаю, что она так уж хороша. Могу подметить в ней не один изъян. Четыре года назад она сидела у меня в конторе, вот тут, где вы сейчас сидите, и я подсунул ей маленькую рольку только потому, что мне стало жаль ее. И дал я ей всего-то сто семьдесят пять долларов в неделю, а мог бы дать еще меньше, но сжалился. Мы начинали в Бостоне, и дальше дело не пошло, но не по ее вине. Не по ее вине, надо отдать ей должное. Как только занавес пошел, эта простенькая бабенка с прелестной задницей становится подлинной артисткой. Три-четыре года назад она готова была спать с кем угодно, хоть с мулом. У нее на счету много было молодчиков, а я не принадлежал к их числу просто потому, что не хотел. Мог бы, но не хотел. Наверно, потому она теперь и решила работать со мной, и это единственный шанс в нашу пользу. Бэрри Пэйн не любит появляться с ней „У Сарди“, где чуть не каждый второй посматривает на нее с таким видом, что, мол, а, здрасте! Помните, как мы с вами... Думаете, Бэрри влюблен в нее? Упаси Боже! Просто Зена теперь солидный капитал, и он вовсе не желает, чтобы кто-нибудь подложил ему свинью — ни новые хахали, ни прежние, которым захотелось опять полакомиться. Вы последите за ним: ведь он никому не позволяет и близко подойти к этой Зене. Так и ходит с ней в обнимку. Придет время, и она, конечно, раскусит его, но пока что пощелкивает хлыстиком он».

«У меня нет ни гроша за душой, но если бы что было, я бы все выложил, лишь бы она сыграла в моей пьесе», — сказал Янк Лукас.

«Вот все из себя и выкладывайте до пятницы, Янк, и помните, друг мой: Бэрри Пэйн — дерьмо, вошь, но, если он решит, что ваша пьеса

больше подходит для его целей, Дэвид Сэмон получит кукиш».

«А он что-нибудь понимает, этот ваш Бэрри Пэйн?» — спросил Янк Лукас.

«В этом ему, мерзавцу, отказать нельзя. Да. Что ей нужно, он понимает. Две пьесы — две бомбы. И обе по его выбору».

Это было во вторник, сегодня пятница. Вторник, среда, четверг — работа и кофе, минимум сна, опять кофе, опять работа и под конец такая усталость, что это чуть не стоило ему жизни. Неудавшаяся часть его пьесы валялась на полу спальни скомканными листами бумаги, но Янк Лукас знал, что и лучшая ее часть не удовлетворит Бэрри Пэйна, потому что она не удовлетворяет его самого. Он лез из кожи вон, чтобы угодить человеку, к которому не питал ничего, кроме презрения. Теперь, за два часа до срока, силы у него сдали. В одиннадцать придется позвонить Эллису Уолтону и сказать, что так работать он не может — он не может писать по заказу. Все то хорошее, что есть в пьесе, — это его, кровное. Третий акт плох, он и сам видел это еще до того, как другие заметили, но теперь им вертит бродвейская акула.

Приняв решение, Янк Лукас наслаждался чувством свободы, победой над наглецом и вновь вспыхнувшей любовью к пьесе, которую он со вторника ненавидел. В одиннадцать часов состоится его разговор с Эллисом Уолтоном. Придется выразить Эллису Уолтону свои сожаления — ведь Уолтон держался прилично. Янк не знал и не очень беспокоился, поймет ли Уолтон, что эта гонка вызвала в нем ненависть к пьесе, с которой он прожил и которую любил два последних года. Если Уолтон будет вести себя как порядочный человек, он, Янк, еще вернется к работе над ней, перепишет третий акт, сколько бы времени на это ни ушло, и пьеса достанется Уолтону. Зену Голлом они потеряли, но для него это потеря не меньшая, чем для Уолтона. Даже большая. У Эллиса Уолтона на очереди другие авторы с другими пьесами. У Янка Лукаса всего одна пьеса, заработка никакого и меньше двухсот долларов за душой.

Но у него есть и кое-что еще. У него есть жизнь, искорка жизни погашенная было убежавшим кофейником. И надо же, чтобы случай подсунил ему этого подлеца, который возжег искорку! Какая тонкая ирония судьбы! Такая же ирония есть и в его пьесе. Забавно. Янк Лукас сидел, думал, дышал над своей пьесой и наконец понял, что ему надо сделать с ней.

— Вы, наверно, зад себе отсидели за письменным столом, — сказал Бэрри Пэйн. — Откуда у вас эта идея насчет газовой плиты? Трюк, конечно, но трюк эффектный.

— Бэрри, я же вам говорил, что у этого человека настоящее чувство сцены, — сказал Эллис Уолтон.

— Если вы не возражаете, Эллис, я бы предпочел выслушать ответ от него самого, — сказал Бэрри Пэйн. — Мне любопытно, Лукас. Эта штука с газовой плитой была у вас в первоначальном варианте и вы ее отвергли?

— Нет, — сказал Янк Лукас.

— Ручаюсь, что не было, — сказал Эллис Уолтон. — Я вожусь с этой пьесой с апреля, с тех самых пор, как Пегги Макинерни принесла мне ее первый вариант. Там и намека не было на газовую плиту. Меня это потрясло не меньше вашего. Не то потрясло, что Янк может выдать такое, а самый эпизод.

Была суббота, и они сидели в гостиной квартиры Бэрри Пэйна — Зены Голлом на Западной стороне Сентрал-парка.

— Ладно, Лукас, не хотите сказать или вам Эллис не позволяет — ладно, не говорите. Но эта сцена меняет все дело. Что мне нравится... Понимаете, я отверг две пьесы, где Зена кончает жизнь самоубийством. Не станет она кончать самоубийством. Я не о вашей героине говорю, а об актрисе по имени Зена Голлом. Есть идиоты, которые утверждают, будто Зена Голлом может сыграть что угодно. Например, телефонную книгу. Зена Голлом читает телефонную книгу — это же прелесть! К чертям собачьим! Мало ли что ей захочется, да я не позволю. Самоубийца в пьесе? Пожалуйста, но чтобы Зена Голлом кончала самоубийством — это исключено... Исключено. А знаете почему? Потому что это будет неправдоподобно. Зена Голлом не просто актриса. Актрис и я достану, и Эллис достанет, и любой достанет. Нет, Зена Голлом — это индивидуальность, это личность на сцене. Какая индивидуальность, какая личность? Лучше я вам перечислю, какие образы она не создала на сцене. Она не леди. Не Этель Бэрримор. Не Таллула Бэнкхед. Вы-то вряд ли видели Сильвию Сидни, когда она была помоложе, а я видел, и кое-что от нее есть у Зены. Любая клушка из публики отождествляет себя с Зеной. Они перевоплощаются в нее все три акта и все вместе страдают. Но если она покончит с собой, тут перевоплощению конец. Если я дам ей роль, где она угробит себя, мы эту публику потеряем. Потеряем начисто. Почему? Сейчас я вам объясню почему. Потому что клушки не кончают самоубийством. Вы, может быть, скажете: ну и что? Мы даем только два утренника в неделю. Среди вечерней публики много мужчин. Да? Так вот: мужчины ходят на «мьюзикалз». А билеты на драмы покупают женщины. Мужская часть публики пусть глазееет на ее тохес. Объясните ему, Эллис, что такое тохес.

— Сам догадается, — сказал Эллис Уолтон.

— Представьте себе, я знаю, — сказал Янк Лукас.

— И прекрасно. Итак, Лукас, имейте в виду: если вы соберетесь написать еще одну пьесу для Зены Голлом, чтобы там самоубийства не было.

— А вы, мистер Пэйн, пожалуйста, имейте в виду, что я писал эту пьесу не для мисс Голлом.

— Дело в том... — сказал Эллис Уолтон.

— Я все понимаю. Уж в этом-то можете на меня положиться, Эллис. Ни один драматург не признается, что он пишет пьесу для какой-нибудь звезды. Ну, допустим, что писал он не для нее. А переписывал для кого? И как здорово справился. За четыре дня. Если вы можете смастерить новый третий акт за такой срок, придется мне повторить слова Эллиса. Да, у вас истинное чувство сцены. Мы дадим премьеру в Бостоне и будем играть там две недели. Может быть, нас заставят убрать кое-какие рискованные места, но для Нью-Йорка мы их восстановим. Там, где негр входит на кухню и видит ее без чувств на полу, надо быть поосторожнее. Даже намек не должно быть, что негр пощупал ее или что-нибудь еще.

— Таких намеков в моей пьесе нет.

— Помню, что нет, но вы не знаете этих режиссеров, — сказал Бэрри Пэйн. — Ваша героиня должна до конца жизни быть преисполнена высоких чувств к этому негру. Благодарность и все такое прочее. Светлый луч в ее жизни и так далее и тому подобное. Следовательно, не будем портить эту сцену, негр не должен распалиться, глядя на нее. Вы меня понимаете?

— Понимаю ли я вас? Пьесу написал я, — сказал Янк Лукас. — Постарайтесь вы меня понять.

— Правильно, — сказал Бэрри Пэйн. — Ладно, Эллис, дайте ему денег и пусть отпразднует событие.

— По-моему, он надеялся познакомиться с Зеной. Верно, Янк?

— Да, — сказал Янк Лукас.

— Я не хотел, чтоб она при этом присутствовала. И выпроводил ее из дому, чтобы она не мешала нам потолковать. Но вы, Лукас, не беспокойтесь. Она будет играть в вашей пьесе. Как дальше, Эллис? Сообщение в газете в понедельник?

— Да, конечно. А что?

— На тот случай, если я наткнусь на Дэвида Сэмона. Мне надо знать, что говорить ему.

— Уж если говорить, так, может, правду? — сказал Эллис Уолтон.

— Пусть вычитает все из газет. Этот сукин сын воображает, будто он мной распоряжается. Надо его осадить немножко. Вы обо мне слышали, Лукас? Я считаюсь на Бродвее Стервецом Номер Один.

— Да, слышал, что вы кандидат на этот пост, — сказал Янк Лукас.

— Так вот, я своим званием горжусь. Я связан с Дюрокером. Хорошие люди всегда в проигрыше, я давно это понял, еще когда слухом не слышал о Дюрокере. Но обо мне-то вы все знаете. Подождите, вот поцапаетесь с Эллисом, тогда и он для вас прояснится.

— Пока что он ведет себя прилично, — сказал Янк Лукас.

— Ладно, только не говорите потом, что я вас не предупредил, — сказал Бэрри Лэйн. — Кстати, насчет предупреждений. Не знаю, чего вам там наговорил Эллис, но я не люблю, когда у кого-нибудь появляются разные мыслишки насчет Зены. Это во всех смыслах, не только в постельном.

— Какие же это другие смыслы? — сказал Янк Лукас.

— А вот когда ей вдалбливают, что она должна держаться более независимо. Когда ей говорят, что она должна сама выбирать себе пьесы. Так, пожалуй, можно загубить три года жизни, которые я убил на нее и на ее карьеру. В конце концов кому-нибудь это удастся, но мне нужно еще два года, а дальше — пожалуйста. Дальше я не беспокоюсь.

— Никто не думает посягать на вашу жену, мистер Пэйн, во всяком случае, ни я, ни Эллис, — сказал Янк Лукас.

— Правильно, Янк, правильно, — сказал Эллис Уолтон.

— Слушайте, Лукас. Я к вам присматривался, я знаю, что происходит у вас в мозгу. Вы как вошли в дом, так сразу подумали, глядя на меня: «Поставить бы его на место, этого наглого еврея!» Вот что вы подумали.

— Друзья, друзья! — сказал Эллис Уолтон.

— А о чем подумал «наглый еврей»? — сказал Янк Лукас.

— Друзья, прошу вас! Где же хорошие манеры?

— Если желаете знать, так я доложу вам, о чем я думаю. Если вы на самом деле желаете знать, так думаю я вот о чем: не будь эта пьеса нужна мне для Зены, я бы пяти минут на вас не потратил. Кроме того, я думаю: а ему нужна Зена. Так что мы с вами пришли к пату. К временному пату. Но я хочу, Лукас, чтобы вы не от кого-нибудь другого, а от меня услышали, что если вам придет в голову обрабатывать Зену каким бы то ни было способом, манером или приемом, я выведу ее из спектакля, даже если билеты будут проданы на десять недель вперед.

— Несмотря на контракт? — сказал Янк Лукас.

— Контракт? Бросьте наивничать, Лукас. Бросьте наивничать. Если я

захочу вывести ее из спектакля, так оно и будет. На худой конец положу на операцию.

— И все это вы говорите при Эллисе и при мне?

— А я что угодно вам в лицо скажу. Двое против одного. Но из этих двоих один продюсер, а другой автор пьесы, я же муж звезды. И присяжные заседатели могут взглянуть на дело так, что вы оба берете меня за горло. Как бы там ни было, но спектакли вам придется отменить, и, даже если вы подадите в суд, судебный календарь так забит, что разбор дела назначат года через два, через три — не раньше.

— Кто затеял разговор о суде, Бэрри? Вы сами и затеяли. Вам всегда нужно подложить ложку дегтя, даже когда все само собой так хорошо складывается.

— Само собой складывается? Мы. Эллис, трое бандитов, обсуждаем дело. Вернее, четверо, только Зена отсутствует. Так что, надеюсь, мы с вами теперь понимаем друг друга.

— Абсолютно, — сказал Янк Лукас.

— Эллис, в понедельник к одиннадцати часам я — у вас. Извольте приготовить чек, выписанный на мое имя за личные услуги. О сумме мы договорились.

— А Зена тоже приедет? Как было бы хорошо, если б мой пресс-агент привел фотографа и мы бы ее сняли.

— Чтобы утрясти дело с контрактом, потребуется еще недели две. Тогда и сфотографируем, — сказал Бэрри Пэйн.

— Но в понедельник фотографии можно было бы уже тиснуть. Чем раньше мы дадим рекламу, тем лучше.

— Фотографии появятся позже. Я заказал ей новые коронки. Пришлось отказаться от выступления по телевидению. И вот больше ста тысяч долларов из кармана. Телевизионные камеры в десять раз безжалостнее киношных. У нее и зубов-то почти нет, одни десны. И кожа такая — хуже некуда. Сколько людей брались учить ее, как играть, и хоть бы один показал, как снимать грим. Мне бы следовало лет шесть-семь назад наложить на нее лапу.

— Почему же не наложили? — сказал Эллис Уолтон. — Она тут под носом крутилась.

— Крутиться-то крутилась, — сказал Бэрри Пэйн. — Да кто ее знал? Я занимался другой птичкой, плевать мне было на какую-то никому не известную Зену Голлом. Да Зена Голлом и сама была занята. Без всякой для себя выгоды. Получала по сто пятьдесят от таких крупных воротил, как Эллис Уолтон.

— По сто семьдесят пять, а можно бы и меньше, — сказал Эллис Уолтон. — Все зачисляют ее успехи на ваш счет, Бэрри. У нее ничего не ладилось, пока вы не появились рядом с ней.

— Ой, как трогательно, сейчас зарыдаю, — сказал Бэрри. — Пусть не на мой счет зачисляют, а дают...

— Наличными? Да, Бэрри? — сказал Эллис Уолтон. — Ну, Янк, пошли?

— Пошли, если вы готовы, — сказал Янк Лукас.

По пути вниз, в лифте, Янк Лукас сказал:

— Я слышал про таких типов. И даже о нем слышал. Но это, доложу я вам, экземпляр. Наверно, названивает сейчас Дэвиду Сэмону.

— Нет, — сказал Эллис Уолтон. — Он вас вокруг пальца обведет. Он вас зарежет. Но если скажет «да», когда речь идет о деле, можете на него положиться. Это единственное, за что его терпят. Очень сложная натура, полная противоречий, но дело есть дело, Янк. Как у вас с деньгами?

— Плохо, — сказал Янк Лукас.

— Вы меня извините, но вид у вас — хуже не бывает. Возьмите несколько сотен и уезжайте куда-нибудь отдохнуть. Я выдам вам аванс — тысячи две долларов. Не хватает мне еще нянчиться с больным автором.

— А куда ехать? Я понятия не имею.

— На той неделе выйдет газета, и тогда Пегги Макинерни с легкостью достанет вам работу в Голливуде.

— В Голливуд я не поеду, — сказал Янк Лукас.

— А вы откуда родом?

— О Господи! Туда я тем более не поеду. Я родом из городка, который называется Спринг-Вэлли. В западной части Пенсильвании. Но туда меня не заманишь.

— А чем занимаются ваши родители?

— Отец преподает историю искусств в тамошнем колледже. В Спринг-Вэлли колледже.

— А, знаю, слышал. Ваши баскетбольные команды участвуют в турнире в Мэдисон-сквер-гардене.

— Почему вы говорите «Мэдисон-сквер-гарден»? Разве есть еще Мэдисон-бульвар-гарден?

— Неужели я делаю ударение на сквер? Не замечал. У меня слух не развит на диалоги. Когда читаю, чувствую, что хорошо, а слышать текст не слышу. Вот почему я продюсер, а не драматург. Нет, Янк, правда, вам надо спрятаться в каком-нибудь загородном отеле и хорошенько отдохнуть. Питайтесь получше. Заказывайте бифштексы. Пейте побольше молока.

Возьмите с собой девочку. Отдохнете, придете в себя. А что касается девочек, так если вам нужно, ну, скажем, на одну ночь и вы положитесь на мой выбор, я с удовольствием помогу. Вы каких любите? Блондинок? Брюнеток? Рыженьких?

— Безразлично, — сказал Янк Лукас.

Они сели в такси.

— Куда вас отвезти? Поехали ко мне, я возьму деньги из сейфа.

— Ладно, — сказал Янк Лукас.

Эллис Уолтон дал таксисту адрес на Шестой авеню и подробно объяснил, как туда проехать.

— Чего это вы втолковываете мне, что на Шестой авеню одностороннее движение? Я и сам это знаю, мистер, — сказал таксист.

— Не все знают, — сказал Эллис Уолтон.

— Таким и за руль садиться нечего, — сказал таксист.

— Совершенно с вами согласен, — сказал Эллис Уолтон. — Янк, я искренне надеюсь, что это положит начало нашему с вами союзу. Вы не слушайте, что Бэрри Пэйн на меня наговаривает.

— Я не слушал, — сказал Янк Лукас.

— Я ценю, что вы за меня заступились. Бэрри Пэйн действует по принципу — разделяй и властвуй. Поэтому он так и отозвался обо мне. Он заставит вас драться с режиссером, меня — с декоратором, декоратора — с костюмерами, а Зену со всеми и с каждым в отдельности. Она не любит осложнять отношения, но он толкает ее на это, чтобы поставить в зависимость от себя. Не пройдет и половины репетиции, как вы будете себе говорить: да ну его к черту, стоит ли? Так вот, стоит, если пьеса пройдет с успехом. И вообще стоит. Для вас это будет крещение в огне. А что, собственно, это значит, крещение в огне? Неужели у каких-нибудь христиан есть обряд, где так крестят?

— Крещение огнем. Так, кажется, говорили в Первую мировую войну, когда человек впервые шел под обстрел.

— Да, наверно, что-нибудь в этом роде. Я давно хотел спросить, как это надо понимать. Не могу себе представить, чтобы младенцев сжигали заживо, разве только чтобы отделаться от них.

— Да, это не то что обрезание, — сказал Янк Лукас.

— Интересный у вас ход мыслей, Янк. Очень интересный. Вы были женаты?

— Да.

— Потому и не хотите возвращаться в Спринг-Вэлли?

— Отчасти.

— Она все еще там живет? Да?

— Все еще там. Снова вышла замуж. Двое детей.

— Если пьеса будет иметь успех, все это вылезет наружу, — сказал Эллис Уолтон.

— Хотите, расскажу? Я женился на втором курсе на девушке моего класса.

— Класса в колледже или в социальном смысле?

— В колледже. В социальном смысле? Вы что, смеетесь? Социально я не принадлежал ни к какому классу, ни к богатым, ни к бедным. Для богатых я был бедняком, а бедняки считали, что я подлаживаюсь под богатых. Мой отец преподавал в колледже. Историю искусств. Если у него заводилась когда-нибудь сотня-другая долларов, он покупал на них картины.

— Некоторые себя потом оправдывают.

— Его покупки себя не оправдали. Он делал это ради поощрения неизвестных художников, а они так и оставались неизвестными. Пустое место. Позер. Но он знал назубок все даты и периоды, какая школа влияла на какую, и на факультете никто не осмеливался вступать с ним в спор, потому что, если он говорил, что такой-то художник родился в восемьсот двенадцатом году и умер в шестьдесят пятом, так оно и оказывалось при проверке. Вот и держали его на кафедре, тем более что платили ему не так уж много. Еще у него была борода. А выгнать бородатого преподавателя как-то неловко. Там был еще один старый бородач. Того следовало кастрировать или посадить в сумасшедший дом, а он продолжал читать лекции. Мой отец ничем таким не страдал, но, если бы его выгнали, не знаю, где бы он нашел работу. Тогда мы с сестрой не смогли бы учиться в колледже. Ну вот, я женился, ушел со второго курса и стал работать в газете моего свекра. Она выходила раз в неделю. Я белобилетник из-за полиомиелита, которым переболел в детстве, и мой свекор был в восторге от такого сотрудника. Нам пришлось переехать к родителям жены — больше жить было негде. А лучше бы ютиться в палатке, во всяком случае, я предпочел бы палатку. Ведь мне приходилось проводить со свекром круглые сутки, а это на двадцать три с половиной часа превышало и мое и его терпение.

— А что собой представляла ваша жена?

— Да она училась в колледже! Хорошенькая, не больно способная, но родители заставили ее учиться, чтобы была с дипломом. Так что первую половину дня это была миленькая студенточка, а к вечеру студенточка приходила домой, и ей полагалось превращаться в молодую замужнюю

женщину. Не вышло.

— Разрешите полюбопытствовать, почему вы на ней женились?

— Потому что она ошиблась. У нее произошла задержка, а она думала — беременность. Беременности не было.

— А из-за чего же вы разошлись?

— Из-за одного типа. И многого другого. Из-за того, что мы жили у ее родителей и мне приходилось проводить все время в обществе ее отца — днем на работе, вечером дома. Тот тип был офицер, прикомандированный к колледжу. Разъезжал на собственной машине и расходовал бензин сколько хотел. А я пользовался редакционной машиной, и мне не полагалось ездить на ней ради собственного удовольствия. Этот офицер — майор — распоряжался в колледже как хотел и, сами понимаете, спал со всеми подряд. В том числе и с моей женой. Я ушел из газеты, она получила развод, продолжала спокойно учиться, а я уехал в Нью-Йорк.

— А этот майор женился на ней?

— Как бы не так. У него были жена и дети где-то... не знаю где, кажется, на Западе. Нет, она вышла за другого, из Спринг-Вэлли.

— Почему же вам так не хочется побывать там?

— Потому что я жил в этом городе двадцать один год, и зиму и лето, и за все это время не нашлось у меня человека, ни мужчины, ни женщины, который был бы мне не безразличен, о котором мне хотелось бы знать, жив он или умер. Алиса — моя жена, ее назвали так в честь дочери Теодора Рузвельта, — одарила меня тем единственным, что я познал там. Когда я лег с ней первый раз в постель, мне казалось, что это счастье продлится вечность. Конца ему не будет. Но как только она призналась мне, что спит с майором два-три раза в неделю и спала бы дальше, если бы у меня не появились подозрения, я бросил и ее и город и поставил крест на первых двадцати с лишним годах моей жизни. Там у них считают, что я импотент. Она умоляла меня не говорить родителям, почему мы расходимся, и я не сказал. Должно быть, они вместе и придумали эту брехню насчет моей импотенции.

— Как-то не вяжется с тем, из-за чего вы на ней женились, — сказал Эллис Уолтон.

— Об этом мы им тоже ничего не говорили, — сказал Янк Лукас. — Я на нее не в обиде. Она призналась мне про майора и посоветовала развлекаться на стороне — пожалуйста, ее это не заденет. Лишь бы в семье ни о чем не догадались. Тут она проводила твердую линию. Если бы родители узнали о ее делах, тогда виновницей развода пришлось бы стать ей. Насколько мне известно, она теперь утихомирилась — муж, дети. И я

нисколько не удивлюсь, если она твердо убедила себя, будто я действительно импотент и майор или кто там еще у нее был — это все как бы болезни роста. А если она так считает, значит, так оно и есть. Я подделал чек, чтобы было на что уехать из города, но скандала из-за этого не разразилось. Отцу я оставил записку с признанием и пообещал ему, что не попрошу у него больше ни цента. Триста долларов. Он уплатил по этому чеку, но совесть меня никогда не мучила, тем более что у него было потрачено гораздо больше на паршивые картины совершенно посторонних ему людей. Я вовсе не горжусь тем, что обставил отца на три сотни долларов, но фальшивый чек создал вокруг меня дымовую завесу, под прикрытием которой я ушел из дому. Отцу не нужно больше питать к сыну какие-то чувства, а сыну незачем возвращаться больше в родной город. Вот так-то.

— Как же вы ухитрились прожить, пока писали свои пьесы?

— Работал уборщиком в ресторане, мыл посуду. Платят неплохо и ешь сколько хочешь.

— Вот как? А я думал, вы в какой-нибудь газете работали, — сказал Эллис Уолтон.

— В газеты начинали возвращаться люди с войны, и вообще мне не хотелось работать там, где требуется писанина. Хотелось писать свое по вечерам, у себя дома. Голодать мне не приходилось. Стоило обратиться в любое из десятка агентств, и в тот же день получаешь работу по уборке или мытью посуды в кафетерии. Сберегаешь деньги на одежде и еде, расход только на проезд и жилье. Кроме того, и отношение к тебе хорошее. Если уборщик вдруг уйдет в часы пик, всю грязную работу придется делать директору или хозяину. Мы это знали, и они знали, что мы знаем. Еще я как-то взялся парковать машины, но проработал только один день. Слишком большое напряжение. У меня так болела потом шея, что на следующий день я головы не мог повернуть. На работе уборщиком я здорово насобачился говорить по-испански. И с тех пор как живу в Нью-Йорке, два раза нанимался на Рождество в восточной части Гарлема.

— Больше вам не придется это делать, — сказал Эллис Уолтон. Они сидели у него в конторе. Эллис Уолтон достал деньги из сейфа. — Здесь пятьсот долларов. Если хотите, дам больше.

— Такой суммы наличными я в жизни своей не держал, — сказал Янк Лукас.

— Через полгода я вам об этом напомню, — сказал Эллис Уолтон.

— Нет, таким богачом, как сию минуту, я вряд ли когда-нибудь себя почувствую. Шесть бумажек по пятьдесят долларов и две сотенные, —

сказал Янк Лукас. — Надеюсь, меня не ограбят по дороге домой.

— Черкните-ка мне расписку на эту сумму, — сказал Эллис Уолтон.

— Зачем?

— А затем, что иначе Пегги Макинерни возьмет с вас пятьдесят долларов комиссионных. Пора вам начать думать о таких вещах, Янк.

— Да, надо привыкать, — сказал Янк Лукас.

— Иметь деньги в кармане и тратить их — это еще не самое трудное, — сказал Эллис Уолтон.

— Да-а? — засмеялся Янк Лукас.

— Да. Деньги для того и существуют, чтобы их тратить и наслаждаться жизнью. Хуже сама идея денег, от нее, от этой идеи, трудно избавиться. Я говорю о талантливых людях, о таких, как вы, Янк. Пока вы будете тратить деньги и забывать о них, за вас бояться нечего. За вас и за ваш талант. Но поживем — увидим.

— Может, у меня ничего хорошего больше и не получится после этой пьесы, — сказал Янк Лукас.

— Да бросьте, вы сами в это не верите ни одной минуты. И я не верю. И зачем только мне надо вам платить? Придумать бы такую систему, по которой вы и не касались бы денег. Но такой системы не существует, так что забирайте свои пять сотен и поезжайте отдохнуть. Желаю вам хорошо провести время, и будем надеяться на лучшее.

— Спасибо вам, Эллис, но вы за меня не беспокойтесь. Деньги и я — мы всегда были врозь. И вряд ли теперь они что-нибудь изменят в моей жизни.

— Вот и прекрасно, — сказал Эллис Уолтон.

— Вы оптимист?

— Нет, я доктор Кронкхайдт, — сказал Эллис Уолтон.

— Что-о?

— Вы не видели Смита и Дэйли? Это их водевильный номер. Один спрашивает другого: «Вы, доктор, оптимист?», а тот отвечает: «Нет, я доктор Кронкхайдт». Я сотню раз их смотрел.

— Нет, я водевилей почти не видел. Два спектакля в Алтуне и два в Питсбурге. Я ведь почти нигде не был, кроме Спринг-Вэлли, штат Пенсильвания, и Нью-Йорка, штат Нью-Йорк.

— Да, вы нигде не были. Это видно по вашей пьесе. Но теперь куда захотите, туда и поедете. И мыть посуду вам больше не придется.

— Как вы верите в успех моей пьесы! — сказал Янк Лукас.

— А знаете, кто вселил в меня такую уверенность? Этот стервец Бэрри Пэйн. На свою собственную оценку я тоже полагаюсь. Но Бэрри вас уже

побаивается, а меня он никогда не боялся. Людей, которые ему не страшны, он просто топчет, но вас, хоть и через силу, уважает, а значит, боится.

— Хорошо. Как вы говорите, поживем — увидим, — сказал Янк Лукас. — У меня к вам еще одна просьба.

— Слушаю.

— Разменяйте мне одну бумажку. Я поеду домой на такси, а у меня в кармане всего один доллар и двадцать один цент. Сколько будет стоить такси, я не знаю, но все равно пятидесятидолларовую бумажку когда-нибудь придется менять. А в нашем районе это значит лезть на рожон.

Эллис Уолтон сунул руку в карман.

— Вот три по доллару, пять и десять.

— Значит, я должен вам пятьсот восемнадцать долларов. Давайте переделаем расписку.

— Нет. Лучше угостите меня как-нибудь завтраком. Тогда ваших восемнадцати долларов, может, и не хватит, — сказал Эллис Уолтон.

Янк Лукас взял такси, но, вовремя спохватившись, расплатился с таксистом на углу Девятой авеню и дошел до своего дома пешком. И хорошо сделал. Входя в подъезд, он наткнулся на Жука Малдауни.

— Ну, как дела, приятель? Как себя чувствуешь? — сказал Жук.

— Хорошо, спасибо.

— Настолько хорошо, что можно пойти выпить тут, за углом?

— Нет, не настолько, — сказал Янк Лукас.

— А у тебя не найдется парочки долларов?

— Найдется, — сказал Янк Лукас.

— Или пяти, это бы еще лучше.

— Ладно, — сказал Янк Лукас. Жук Малдауни разинув рот смотрел на десятку, пятерку и две долларовые бумажки, которые Янк Лукас вынул из кармана.

— Десяточка мне нравится, — сказал Малдауни.

— И мне тоже, — сказал Янк Лукас. — Хватит с тебя и пяти.

— Ладно, давай пять, — сказал Малдауни. Он зажал бумажку в кулаке. — До скорого.

«Ну уж нет!» — мысленно проговорил Янк Лукас. Теперь, когда в кармане у него лежало пятьсот двенадцать долларов двадцать один цент, он мог позволить себе такую роскошь. Он поднялся в свою квартиру, уложил вещи в чемодан и через час уже сидел в поезде, шедшем на восток. Ему не приходилось бывать в Бостоне, и знакомых у него там не было, но он много слышал об этом городе еще в Спринг-Вэлли, и пьеса его должна была идти там, и по расписанию первый поезд, на который он мог попасть,

отправлялся именно туда.

Свою полную неосведомленность насчет Бостона Янк Лукас проявил в первом же разговоре с проводником, который спросил его, выходит ли он в Бэк-Бэе. Название Бэк-Бэй Лукас слышал и раньше, но почему-то думал, что это фешенебельный пригород Бостона, то же, что Сивикли в Питсбурге. Проводник терпеливо разъяснил ему его ошибку. Позднее, когда поезд тронулся из Провиденса, Янк Лукас спросил проводника:

— Какие у вас есть хорошие гостиницы в Бостоне? Проводник вторично оглядел его с головы до ног — твидовый пиджак и фланелевые брюки, нечищенные башмаки, черный вязаный галстук, давно не стриженные волосы. Янк Лукас прочел в глазах проводника и его мнение о своем поцарапанном и побитом чемодане, который лежал в самом низу, под грудой багажа в тамбуре.

— Хорошие гостиницы? — сказал проводник. — Да их у нас несколько, первоклассных. Очень хорошо отзываются о «Ритце», кроме того, есть «Копли-Плаза», «Стэтлер», старинная «Паркер-хаус». Почти во всех номера надо заказывать заранее, но сегодня суббота, может, и так достанете. Все зависит от того, сколько вы не пожалеете потратить. И от района. Вы хотите чтобы поближе к Гарварду?

— К Гарварду? Почему?

Проводник улыбнулся.

— Я подумал, может, у вас какие дела там или в Технологическом институте. Так, наудачу сказал.

— Нет, я к институтам никакого отношения не имею, и они ко мне, кажется, тоже.

— Тогда вам, пожалуй, лучше всего остановиться в центре, например в «Стэтлере». Сойдете в Бэк-Бэе, а оттуда доедете на такси. Чем еще могу служить, сэр?

— Спасибо, вы и так мне очень помогли, — сказал Янк Лукас.

И проводник действительно помог: приняв Янка Лукаса по невзрачному костюму за человека, у которого могут быть дела в Гарварде, он подsunул ему роль, куда более приемлемую, чем роль бывшего мойщика посуды в кафетерии. Это придало Янку Лукасу известную уверенность, и он потребовал и получил номер в «Стэтлере».

— Мне должны были заказать, — сказал он пластиковому субъекту в окошечке.

— У нас таких сведений нет. А кто заказывал?

— Гарвардский университет, — сказал Янк Лукас.

— Может, где-нибудь еще резервировано?

— Может быть. Но если у вас есть свободный номер, я останусь здесь, а в понедельник выясню.

— Хорошо. Мистер Р. Я. Лукас, Спринг-Вэлли колледж, в Спринг-Вэлли, штат Пенсильвания. Так?

— Доктор Лукас.

— Простите. Доктор... Доктор Р. Я. Лукас? Имя как будто знакомое.

— Наверно, попадалось в газетах. Я доктор, но не медик, если это вам что-нибудь говорит.

— А, понятно! Атомная физика, — сказал пластиковый субъект.

Янк Лукас устало склонил голову. Пластиковый субъект посмотрел на Янка Лукаса так, точно он того и гляди исчезнет в атомном грибе. Это была не бог весть какая победа — победа над мелким хамом, но тем не менее она доставила удовольствие Янку Лукасу.

— Мне, возможно, понадобится личный телефон в номере, — сказал он.

— Конечно, конечно! Я думаю, это можно будет устроить, доктор Лукас, — сказал пластиковый субъект, теперь уже понимающим тоном сообщника.

— Безусловно, — сказал Янк Лукас.

Он сытно пообедал у себя в номере, потребовал, чтобы ему принесли газеты, журналы и коробку конфет и два дня и две ночи без всяких усилий переходил от прежней жизни к той, что уже началась. Он ел, и спал, и ездил в такси к ничего не значившим для него зданиям Гарвардского университета, и проводил время в парке. Он гнал от себя все мысли, особенно те, что были связаны с тягой в Нью-Йорк, которая началась после первой же хорошо проведенной ночи. В понедельник бостонцы вернулись на работу, их трудолюбие погнало его прочь из Бостона, и он уехал. В Бостоне ему жилось хорошо вдали от всех и от всего, что было раньше. Он никогда прежде не съедал один целой коробки шоколада и впервые видел, как ресторанный официант охаживает ученого-атомщика, подавая ему еду в номер. Но теперь надо было возвращаться к действительности.

Стоило только Янку войти в свою квартиру, как он почувствовал запах газа. Он притворил за собой дверь и понял, что запах — плод его воображения. Он стал ходить по квартире, приносиваясь. Ничем таким не пахло. Но ему было ясно, что если жить здесь, этот запах будет преследовать его, и он не стал распаковывать чемодан. Он позвонил Эллису Уолтону.

— Я хочу перебраться в гостиницу. Могу я себе это позволить?

— Надеюсь, вы не замахнулись на «Уолдорф Асторию»? — сказал

Эллис Уолтон. — Что-нибудь вроде «Алгонкуина»?

— Это куда Пегги Макинерни водила меня завтракать? Мне там понравилось.

— Они тоже здорово дерут, но вы это осилите. Хотите, чтобы я поговорил с ними?

— А можно? Меня там не знают.

— Сейчас не знают, зато потом будут знать, — сказал Эллис Уолтон.

— И так, чтобы сегодня же переехать?

— Уже сегодня? — сказал Эллис Уолтон. — О-о, Янк, я ничего не обещаю, но посмотрим, может быть, и удастся.

Позже Эллис Уолтон позвонил ему: можно переезжать в «Алгонкуин» сегодня вечером. Янк распаковал свой чемодан, выбросил старые рубашки и халат в корзинку для бумаги, а освободившееся место заполнил рукописями законченных и незаконченных пьес. Оглядев напоследок квартиру, он не нашел больше ничего такого, что хотелось бы сохранить. Потом спустился вниз, поймал на углу такси и, стараясь не быть чересчур драматичным, сказал самому себе, что видел эту квартиру в последний раз.

На следующее утро он, почти как Байрон, проснулся знаменитым. Другими словами, развернул газету и прочел сообщение о том, что Зена Голлом согласилась выступить под эгидой Эллиса Уолтона в новой пьесе никому не известного автора по имени Янк Лукас. В статье говорилось далее, что мисс Голлом ищет возможности показать себя в пьесах новых драматургов и что супруг Зены, Бэрри Пэйн, заинтересовал ее этой рукописью после случайной встречи с Лукасом в «Автомате», где Лукас занимался уборкой посуды со столов. Пока пьеса переделывалась, финансировал Лукаса мистер Пэйн, и он же будет сотрудничать с мистером Уолтоном в ее постановке.

— Читали «Нью-Йорк таймс»? — спросил Лукаса по телефону Эллис Уолтон.

— Только что кончил, — сказал Янк Лукас. — Бэрри Пэйн финансировал меня! Умилительно! Вам, я думаю, это тоже понравилось. Не знаю, позвонить туда, вправить им мозги?

— Это ничему не поможет. Вырвать у «Таймса» опровержение немислимо.

— Печатаем все, что угодно, то бишь что нам угодно, — сказал Янк Лукас. — Ну что ж, если вас это не возмущает, то и мне нечего беспокоиться.

— Все дело в привычке. А мне уже телефон обрывают с предложениями вложить деньги в постановку вашей пьесы.

— Магическое имя — Янк Лукас, бывший мойщик посуды. Наверно, в этом секрет.

— Кстати, моему пресс-агенту Сиду Марголли не терпится встретиться с вами. Срочно нужна ваша био.

— Я же вам рассказывал о себе.

— Да, помню, но это, пожалуй, трудно будет протолкнуть в газеты.

— А протолкнете — как бы вас самого не вытолкали, — сказал Янк Лукас. — Ладно, присылайте его.

— Вы сегодня свободны? Может быть, позавтракаете со мной? — сказал Эллис Уолтон.

— Ну-ка, повторите еще раз.

— Вы сегодня свободны? Позавтракаете со мной?

Янк Лукас рассмеялся:

— Мне просто надо было услышать это дважды. Вы, Эллис, имеете честь быть первым, кто пригласил меня позавтракать. Как все быстро меняется. Вчера даже вы не задали бы мне такого вопроса.

— Да вы свободны или нет? Если свободны, тогда я приглашу Сида, а потом оставлю его с вами. Ему не терпится поскорее получить у вас интервью и вообще завязать узелок. Сид вам понравится. Он человек бойкий и знает всех и вся. А копнуть поглубже — чудесный мальчик.

— Что копнуть?

— Да весь этот треп, это хвастовство, — сказал Эллис Уолтон. — Ну так как, в час дня, внизу? Там у вас?

— А не «У Сарди»?

— Если хотите, давайте «У Сарди», но «Сарди» и «21» вам еще надоедят, а я должен выразить свою признательность «Алгонкуину». Они оказали мне любезность, дали вам номер вчера, и, как говорится, услуга за услугу.

— У меня нет свежей рубашки, — сказал Янк Лукас.

— Галстук будет? Тогда все в порядке, — сказал Эллис Уолтон.

— Не видали вы моего галстука, — сказал Янк Лукас.

Без десяти час он спустился в холл и не нашел там места, где присесть. Кое-кого из присутствующих он узнал, кое-кто показался ему знакомым: две кинозвезды, четыре-пять ведущих актрис, девица из притонов Гринвич-Виллиджа, знаменитый романист, человек с моноклем — то ли актер, то ли писатель, маленький человечек — поставщик газетной хроники.

— А вот и мы. Познакомьтесь, Янк, это Сид Марголл.

— Я бы и сам вас узнал, — сказал Сид Марголл. — Говорят, вы написали прекрасную пьесу, Янк. Великолепную пьесу. Кстати, я хочу

знать, откуда у вас такое имя — Янк?

— Давайте сначала захватим себе место и совершим возлияние, — сказал Эллис Уолтон.

На пути к столику Сид Марголл раз шесть остановился поболтать со знакомыми.

— Вон та девка говорит, что она вас знает, — сказал он.

— Не врет, — сказал Янк.

— Говорит, может, вы ее не помните, но она знает вас по Гринвич-Виллиджу.

— Правильно.

— Она торчит здесь каждый день, хотя завтракает редко. Изю всех сил старается продвинуть одного англичанина, но мои новости ее удивили. Тот тип работает продавцом у Марка Кросса — кожаная галантерея. Его здесь видишь нечасто. Он все в «21» околачивается. Я тысячу раз его видел, стоит у бара и чикается с одним-единственным стаканом. Вреда от него никакого, но место занимает. Ну, Янк, bon voyage. Вы пускаетесь в большое путешествие. По дороге вверх выходите на Бродвее, по дороге вниз — на Шестой авеню, у Эллиса.

— Нахальное замечание, — сказал Эллис Уолтон.

— Не хотите ли выгнать меня? Бросьте, Янку такое замечание не обидно. Актеры — те не стерпят. Не актрисы. Именно актеры. Могу пересчитать вам на двух пальцах всех актеров, которых я уважаю. Уолтер раз, Хастон два. Уолтер Хастон. А знай я его получше, может, и пальцев бы не понадобилось. Откуда у вас такое имя — Янк?

— Это мое второе имя. Полностью я Роберт Янси Лукас. Родители моей матери южане, поэтому меня и назвали Янси. Когда я был маленький, ребята решили, что Янси — это Янки, так я и вырос с этим прозвищем. Сначала Янки, потом Янк.

— Надо придумать что-нибудь поинтереснее, — сказал Сид Марголл. — Почему вы до сих пор зовете себя Янк?

— У нас в городе был еще один Роберт Лукас, не родственник. Примерно того же возраста, что и я. А меня никогда по-другому и не звали — только Янк Лукас.

— Не подходит вам это имя, — сказал Сид Маргот. — С таким именем только на тромбоне играть.

— Может быть, но я к нему привык, и у меня есть причины сохранить его.

— Имя как имя, я не против, но надо что-то придумать, почему вас так зовут. Вы из Пенсильвании. Шэмокин от вас близко? У меня там двое

дядек, у них магазин мужского белья и галантерея. Могу устроить вам полдюжины рубашек по оптовой цене. Та, что на вас, знавала лучшие времена.

— Нельзя ли без личных выпадов? — сказал Эллис Уолтон.

— Я его прощупываю, изучаю его реакции, а вы меня все время перебиваете. По-моему, чувство юмора у Янка есть. Ну, допустим, шепну я какому-нибудь репортеру, что у него есть чувство юмора. Они все будут приставать к нему с расспросами, а он вдруг возьмет да взорвется. Вы работали в газете, Янк. Сами знаете, там любят выложить о человеке всю подноготную.

— Мне больше приходилось брать интервью у похоронных дел мастеров и тому подобной публики. Газета выходила раз в неделю, и единственное, что нас интересовало, — это имена. Списки тех, кто несет гроб. Кто придет на ужин, который дает церковь. Кое-когда пожар случится, автомобильная катастрофа. Приезжих знаменитостей редактор оставлял себе.

— Вот теперь поезжайте туда, и он будет брать интервью у вас.

— В этом я сильно сомневаюсь, — сказал Янк Лукас.

— Да? А что такое? Какая-нибудь трагедия?

— Он мой бывший тесть, — сказал Янк Лукас.

— Бывший. А сейчас вы женаты, Янк?

— Нет.

— А что это говорят, будто вы мыли посуду в кафетериях? Уборщиком были? Это правда?

— Самая что ни на есть.

— Назовите мне две-три таких забегаловки. Не сейчас. Потом. Где вы жили?

— В районе Челси.

— Мы напишем, в Гринвич-Виллидже, — сказал Сид Марголл. — На вкус нашего среднего читателя Челси недостаточно колоритно.

— Но я жил именно там.

— Да, из этого района есть выходцы. Самая оголтелая шпана. Но кто о них слышал в Шэмокине, штат Пенсильвания? Там понятия не имеют, что есть такой Челси, а вот про Гринвич-Виллидж все наслышаны. Вы белобилетник — из-за полиомиелита. А что, если мы скажем, что вы служили в торговом флоте? Не служили, нет?

— Я даже на Стейтен-Айленде никогда не был.

— Мне бы хотелось дать вам такую био, чтобы все редакторы на нее кинулись. Мойщик, уборщик — на это они клюнут, но этого мало, надо

что-то еще.

— Я не подходящий объект для художественных очерков.

— Кому вы это рассказываете! Да у вас даже вид самый заурядный. Типичный англосакс. Ну, скажем, преподаватель литературы в старших классах. Нет того, чтобы оказаться убежденным пацифистом или ходить в бородатых педерастах! Трудно с вами, Янк. Хобби какое-нибудь у вас есть?

— Нет.

— Та девка, что говорила, будто знает вас... Намекала, что вы с ней путались. Вы бабник?

— Не отказываюсь, когда случается.

— Не будь это Зена Голлом, я бы расписал ваш роман с исполнительницей главной роли. Но ревнивец Пэйн такого не потерпит. Эллис, представляете себе, какой был бы подарок для всех, если бы Янк действительно завел роман...

— Нет! И не думайте! Вы что, хотите все нам загробить, еще до того как мы подпишем контракт? — сказал Эллис Уолтон. — С ума вы сошли, что ли?

— Я только стараюсь, чтобы вы не зря платили мне деньги, Эллис, — сказал Сид Марголл. Но он долго не сводил глаз с Янка Лукаса, все еще не расставшись с мыслью о Зене Голлом. — А что, если я подсуну безымянный материал, ну, например, этой Килгаллен. У нее много их в работе. Подождите, Эллис, подождите. Я иду к Килгаллен и говорю ей: «Слушайте, Дороти Мэй, могу вам кое-что предложить. Только вам. С дальним прицелом. Пока что выпускайте этот материал, а настанет время, я вам выложу полностью, пока другие не разнюхали». Она может клюнуть. Прежде всего будет гадать, про кого это, прикинет, с кем я связан. Узнать ей непременно захочется, но я скажу: «Вот мои условия, иначе я не играю». Может, клюнет, может, нет. Если нет, я потерял только пять минут времени. Но вероятнее всего, клюнет, потому что сообразит — если она откажется, я найду других. Так что, допустим, клюнула. Дальше эта Килгаллен публикует безымянный материал, до такой степени безымянный, что он подойдет ко многим в театральном мире. Потом я подкидываю ей чуть побольше — говорю, что у нового талантливой драматурга Янка Лукаса есть сердечные дела.

— Вы только послушайте его! Какая ерунда! — сказал Эллис Уолтон.

— С кем — молчим. Ни малейшего намека. Но что, если Янк и Зена сойдутся? Ничего невозможного тут нет. К тому времени — скажем, месяца через два, через три — я допускаю такую возможность. Вполне допускаю. Янк человек порядочный, а для Зены такое в новинку. Особенно —

порядочный, да еще с талантом. Порядочные в общем-то талантами не отличаются. Лицо утром сполоснут, вот, пожалуй, и весь их вклад в культуру. Но Янк порядочный человек и к тому же придумал слова, которые ей надо произносить в новом спектакле. Насколько я понимаю, Янк, вы с Зеной не знакомы. Видели ее только в работе. Так вот послушайте, что я вам скажу. Зена Голлом хороша не только на сцене, Янк, и не верьте тем, кто говорит наоборот. Она, может, и дура-баба и вы вряд ли захотите жениться на ней. Но я обещаю покормить вас хорошим обедом в ресторане «Колония», если вы рано или поздно не ляжете с ней в постель... Вот тогда-то я и пойду к Килгаллен и все ей выложу как есть.

— Что-то меня это не увлекает, — сказал Эллис Уолтон.

— Я ваших реплик не слушаю, — сказал Сид Марголл. — Килгаллен делает первый заход. Скажем, так: «Скоро все в городе заговорят о Янке Лукасе и о его сердечных делах. Завсегдатаям Сарди имя этой дамы известно». Et cetera. А мистер Бэрри Лэйн садится задницей в лужу. Потому что стоит только Зене Голлом снова почувствовать независимость и высвободиться из его рук... А кроме того, и Килгаллен на нашей стороне.

— Вы скачете от одного к другому, — сказал Эллис Уолтон. — В том-то и горе со всеми вашими планами, а за этот я вообще ни цента не дам. Разве только за лужу, в которую Бэрри Пэйн угодит задницей. Это мне нравится. А вам, Янк?

— Прелестно, — сказал Янк Лукас.

— Хотите пари? Хороший обед в ресторане «Колония»? — сказал Сид Марголл.

— Конечно. Не роман, так ресторан. И так и эдак я не проигрываю, — сказал Янк Лукас.

Сид Марголл рассмеялся:

— Нет, этот человек мне положительно нравится. Говорил я, что у него есть чувство юмора? Не роман, так ресторан.

— А вы сами, Сид, что вы от всего этого получите? — сказал Янк Лукас.

— Я? Я получу полное удовлетворение. Обо мне можете не беспокоиться. Я не в первый раз обмозговываю сенсацию. Если все выходит, как задумано, мои заслуги не всегда признаются, но рано или поздно мне даже такие вот Эллисы Уолтоны отдают должное. У меня работает один молодой человек за полтора доллара в неделю. Знаете, как пишет? Уже сейчас не хуже самого Хемингуэя.

— А-а, бросьте вы, — сказал Янк Лукас.

— Нудопустим, хемингуэевской репутации он еще не заслужил, но

если будет продолжать в том же духе... Во всяком случае, я нанял его за сто пятьдесят долларов, пусть пишет за меня по моим заметкам. Стиль великолепный. Но на большее ему рассчитывать нечего. Он не пресс-агент. Он писатель. Я при всем желании ни черта не накопаю, но я пресс-агент, — сказал Сид Марголл. — Да-а, значит, вот к чему мы пришли.

— К чему же мы пришли? — сказал Эллис Уолтон.

— Надо решать, как быть с Бэрри Пэйном. С ним надо разделаться. Может, поддержать вас некоторое время в укрытии? Что вы на это скажете, Эллис? Если мы поддержим его в укрытии? К нью-йоркской премьеры я могу подготовить много интервью. Очень много. Вы по радио выступали, Янк?

— Да.

— Выступали? Вот не думал, — сказал Сид Марголл. — В какой программе?

— «Говорит Спринг-Вэлли, Пенсильвания. Известия и прогноз погоды. Пятиминутка последних известий и погода на наш район. Утренняя передача „За завтраком“, любезно подготовленная для вас компанией „Шумахер-Шевроле“, которая также предлагает вам репортаж о всех местных спортивных встречах».

— Мощность пятьдесят ватт, — сказал Сид Марголл.

— Ватты я никогда не подсчитывал, — сказал Янк Лукас. — Не знаю даже, как это делается. Я приходил в студию каждое утро без двадцати семь, получал три-четыре странички текста и читал их в микрофон с перерывами на рекламу. Платили мне тридцать долларов в неделю, и я совсем было настроился купить машину, но тут моя карьера кончилась. Три блаженные недели, а потом директор радиостанции взял на мое место ветерана войны. Который к тому же приходился ему зятем. И был ветераном. Да, я выступал по радио. Если подсчитать: шесть на пять — тридцать, умножить на три — девяносто. Полтора часа минус время, отведенное на рекламу.

— Да, с Габриелем Хиттером вас, пожалуй, не спутаешь, — сказал Сид Марголл. — Но микрофона вы не боитесь?

— Кого там бояться? Разве только ветеранов, которые отнимают у тебя работу, когда ты уже присмотрел себе машину.

— А вам хотелось бы покрутить с Зеной? — сказал Сид Марголл.

— На Зену, Сид, не рассчитывайте. Вы прекрасно знаете, что Бэрри Пэйн там начеку, — сказал Эллис Уолтон.

— От Бэрри мы как-нибудь отделаемся, — сказал Сид Марголл.

— О Господи Боже! — сказал Эллис Уолтон. — Хватит болтать.

— Ладно, Зену отставим, — сказал Сид Марголл. — Сделаем из него Грету Гарбо. Никаких интервью. Никаких фотографий. Отказывайтесь сниматься, Янк. Не разговаривайте с газетчиками. Но имейте в виду, надо действовать со мной заодно. Скажете «нет» одному, говорите «нет» им всем. Будут пытаться сфотографировать вас — увертывайтесь. На людях носите темные очки. Тогда начнут приставать ко мне: «Что с ним такое, с этим психом?» А я им скажу: «Строго приказано — никакой рекламы. У него идиосинкразия к рекламе».

— Так и слышу намеки на какие-то мрачные обстоятельства, — сказал Эллис Уолтон.

— Ну и что? Кто его знает, Лукаса? Пегги Макинерни. Вы. Бэрри Пэйн. Я. Девка в холле, та, что ратует за продавца от Марка Кросса. Давайте так и сделаем.

— Это, наверно, легче всего, — сказал Янк Лукас.

— Только не будем переигрывать, — сказал Сид Марголл. — Прятаться вам не надо. Отнюдь. Ходите к Сарди, в «21» и тому подобное. Но никаких пресс-конференций, никаких интервью, никаких выступлений по радио. Макинерни много о вас знает?

— Не очень.

— У вас с ней постельных делишек не было?

— С Пегги?

— Э-Э! Лет пятнадцать — двадцать назад поглядели бы вы, какие около нее увивались знаменитости! Она каждый день сюда приходила завтракать. Но тогда у нее не было такого брюха. Как-то раз сидели мы у нее в конторе, несли всякую похабщину, и вдруг, нате вам, готова! Я что ж, рад стараться. Но это было только один разок. Не знаю, как она, а я все помню. Что там у нее, до сих пор все стены увешаны портретами писателей?

— Да.

— Моего портрета там нет. Но может, она только писателей считает. И издателей. И критиков. Хорошая баба, эта Пегги. Тогда у нее мать еще была жива, она о ней очень заботилась, а когда старушка отдала концы, Пегги была уже размерами с Александра Вулкотта. А теперь брюхо на коленях лежит. Не доберешься, такая стена жира. Безобразие! Будете говорить с ней, помяните меня и послушайте, что она скажет. Любопытно все-таки.

— Хорошо, — сказал Янк Лукас.

— И вот вам мой совет. Когда я познакомился с Пегги, она была сложена еще лучше, чем Зена Голлом. Так что не зевайте. Какая Зена будет через пятнадцать — двадцать лет, одному Богу известно. Между прочим, у

них много общего.

— Сложение? — сказал Эллис Уолтон.

— Не только сложение. Много чего другого.

Эллис Уолтон и Сид Марголл договорились в общих чертах о стратегии рекламирования Янка Лукаса (с его согласия), которая заключалась в том, что на данном отрезке времени ничего делать не надо. Это было очень полезное, поучительное знакомство с тем, как проходят деловые завтраки — первый и один из последних для Янка Лукаса. Три человека встретились с определенной целью — для обсуждения биографического очерка о Янке Лукасе. К концу завтрака про очерк забыли, о нем больше не было сказано ни слова, но все трое кое-чего поели и кое о чем поговорили.

— Вы куда отсюда, Янк? Подвезти вас? — сказал Эллис Уолтон.

— Да я, собственно, должен быть у Пег Макинерни. К трем часам, — сказал Янк Лукас.

С бесстрастной миной Сид Марголл медленно склонил голову, что должно было выражать многозначительность, но, по правде говоря, ничего не выражало, и поэтому Янк Лукас и Эллис Уолтон могли вычитать в его лице все, что только им заблагорассудится.

— Я буду у себя в конторе на случай, если вам с Пегги вдруг понадобится поговорить со мной, — сказал Эллис Уолтон.

Все трое пожали друг другу руки и разошлись, и Янк Лукас приехал в контору Пегги Макинерни на пять минут раньше времени. Она крикнула, не поднимаясь со своего вращающегося кресла:

— Входите.

Теперь можно было соскрести с Пегги жир, воссоздать фигурку на основании недавно полученных сведений. Да, из-под всего этого сала, под его слоями вырисовывалась женщина довольно привлекательная — такая вполне могла крутить любовь с писателями, издателями и критиками, фотографии которых висели на стенах ее конторы.

— Из-за вас я весь день вишу на телефоне, — сказала Пегги Макинерни. Она надела очки в темной оправе и взглянула на записку, лежавшую на блокноте. — Отклонила четыре предложения. Киностудии желают подписать с вами контракт на пятьсот долларов в неделю. Хотите знать, кто?

— Да нет, — сказал он.

Она презрительно хлопнула рукой по блокноту.

— Один из них Чарли Ван Аллен. Я ему напомнила, что год назад, когда вы нуждались, он мог получить вас за двести долларов. Вечная

история. Несколько строк в газетах, и вы уже товар, хотя никто не прочел ни единой вашей строчки. Ну их всех к черту. Вот одно из предположений я хоть и отклонила, а оно, по-моему, интересное. Работа над сценарием до запуска картины в производство. Денег предлагают маловато, но вопрос остался открытым. Впрочем, я хоть завтра выхлопочу вам двадцать пять тысяч. Положение у вас очень выгодное. Но вы так давно бедствуете, что двадцати пяти тысяч вам не надо. Писатель с именем, промахнувшись раз-другой, соблазнился бы такой суммой, потому что живет он на широкую ногу. В нашем деле полно противоречий. Покупает человек дом в Баксе и начинает сорить деньгами. Вы даже представить себе не можете, за какую работу такие берутся, чтобы свести концы с концами. Один из лучших моих авторов согласился на семьсот пятьдесят долларов, а всего только два года назад ему платили в Калифорнии две тысячи пятьсот. Столько сейчас у него набралось долгов. Надеюсь, с вами этого не случится, впрочем, не поручусь. Вы завтракали с Эллисом Уолтоном?

— С Эллисом Уолтоном и Сидом Марголло.

— Сид Марголл. Пресс-агент. Давно я этого имени не слыхала.

— Он сказал, что знает вас.

— А про то, что мне пришлось однажды вытолкать его из конторы, наверно, не говорил?

— Нет, не говорил.

— Вытолкать взашей. Какие-нибудь хористочки, может, и стерпели бы его эксгибиционизм, но я-то не хористочка. Так что пришлось мне его вышвырнуть. Значит, он работает на Эллиса. Не говорите ему о себе ничего такого, что вам не хотелось бы прочесть в статейках Килгаллен. Эти пресс-агенты все шьются с фельетонистами. Говорят, надо же зарабатывать себе на кусок хлеба с маслом. Он, конечно, получает с Эллиса, но понимаете, в чем дело? Эллис не настолько крупная фирма, чтобы платить Марголлу круглый год, и Сиду приходится работать на других клиентов. И любому из них он всадит нож в спину, если это поможет ему сохранить расположение фельетонистов.

— А зачем вы мне это рассказываете?

— Затем, что я намерена заработать для нас с вами уйму денег и не хочу, чтобы вы наделали глупостей. Например, признались бы Сиду Марголлу по секрету, что отказываетесь от двадцати пяти тысяч. — Она наклонилась вперед и покачала пальцем, точно политический деятель сигарой во время неофициальной беседы. — То же самое вы услышите, если еще не слышали, о нас, агентах. — Она снова откинулась назад и сомкнула кончики пальцев. — Про нас говорят, будто мы грабим наших

клиентов в угоду кинокомпаниям. Вы еще наслушаетесь разных историй, как мы даем в лапу кинодельцам. Агент покупает роман или пьесу, скажем, за пятьдесят тысяч долларов, но автору достается от этой суммы самая малость. А большая часть возвращается к агенту.

— Зачем вы мне это рассказываете?

— Затем, чтобы вы не терзались подозрениями и не тратили на это время. Да, когда-то я мухлевала, но теперь мне это не требуется. Могу себе позволить такую роскошь, как этика. Могу даже помогать молодым авторам, если мне кажется, что у них что-то есть за душой, а у вас, безусловно, есть. — Она замолчала, как бы выжидая, что он на это скажет.

— Должен вам признаться... так, пожалуй, будет лучше... Я взял у Эллиса пятьсот долларов. В займы.

— Чтобы не платить мне пятидесяти долларов комиссионных? Хорошо, что вы мне сказали, Янк. Узнай я об этом позднее — а я непременно узнала б, — мне было бы проще простого отбросить этику к черту, а это обошлось бы вам подороже пятидесяти долларов. Фактически я вырвала у вас это признание, но надо же было дать вам возможность покаяться. Вот она, работа Эллиса. Эллис осуждает Бэрри Пэйна, но когда он сам делает такие вещи, это, видите ли, дружеский акт. Д-е-р-ь-м-о. Дерьмо. Я всех их знаю как облупленных. Кое с кем из них наука далась мне дорого, о чем они не преминут вам доложить. Но если я стерва, так это потому, что иначе мне бы не уцелеть.

— Я не считаю вас стервой, — сказал Янк Лукас.

— Вы не видели меня в действии. Когда надо быть стервой, я стерва, и это единственное мое развлечение, с тех пор как меня так безобразно разнесло. А вам мой скромный материнский совет. Будьте со мной начистоту, и я за вас повоюю там, где вы сами не сможете. Раз в сто лет мне попадается талант, который заслуживает уважения. В данном случае это вы. Это не лесть. Мне незачем вам льстить. Ни мне, ни другим, хотя другие будут этим заниматься. По вашей пьесе и по тому, что я о вас знаю, мне кажется, вы не падки на лесть. Сами себе вы не льстите, и, следовательно, вас на лесть не возьмешь. Это редкость среди писателей, особенно среди драматургов. В театральном мире столько всякой дряни, что и у писателей голова идет кругом. Кабы я знала, как этого избежать, я бы вас научила. Но может, вы и без моих уроков обойдетесь. Вы милый, Янк, таким и оставайтесь.

— Я милый?

— Не сю-сю-сю-милый. Боже избави! А знаете, кто был милейшим человеком из всех, кого я знала на театре? Юджин О'Нил. По его пьесам

этого тоже не скажешь, но он был прелесть. Не пытайтесь стать вторым О'Нилом. Да нет, знаю, это на вас не похоже. Таких, как вы, мало, и я дам в морду любой сволочи, которая станет переделывать вас. Мужчине или женщине. Будь я лет на двадцать моложе, вам бы несдобровать, но куда их денешь эти двадцать лет? Со своей премьершей вы, кажется, еще не познакомились?

— Еще не познакомился, — сказал Янк Лукас.

— Интересно, очень интересно. Как-то она все сыграла?

— Разве это не зависит главным образом от режиссера?

— Я не о вашей пьесе, а о той, которую она разыграет с вами.

— По-моему, мистер Пэйн связал ее по рукам и ногам.

— Все так считают. Все, кроме меня. Знаете, как говорится? Рыбак рыбака видит издалека. Поэтому я, вероятно, единственный человек на театре — мужчина, женщина или ребенок, — который понимает Зену Голлом. Она — это я двадцать лет назад. Она еврейка, я ирландка, она актриса, а мне хотелось быть писательницей. Но она — это я. Я ее понимаю. В ее возрасте у меня даже фигура была точно такая же и был молодчик, которому я позволяла вертеть собой, как она позволяет Бэрри Пэйну. Он был литератор, поэт — ни больше ни меньше. Заработать на мне он не старался. Но я должна была в любой час дня и ночи быть под рукой. Для постельных и для не постельных дел. Иной раз только для постельных, а потом он меня бил. А то просто ему хотелось поговорить, а говорить он мог часами. Но случалось, недели две-три подряд о нем ни слуху ни духу, и я начинала терзаться — что с ним?

— И вы никогда не старались понять, чем он вас держит?

— Поняла со временем. Он в этом не признавался, а мне самой ничего такого и в голову не приходило, но я была нужна ему. Вот и все. Груды были у женщин за миллионы лет до того, как люди услышали про любовь, и, несмотря на уловки фифочек в свитерах, первичное назначение грудей — кормить молоком. И не обязательно своего ребенка. Вы родом из маленького городка. Должны знать, как корова мычит и стонет, когда ее нужно подоить. Но я тоже была нужна этому сукину сыну.

— И он вас доил, Пегги?

— Да. Но хватит об этом, не то я потеряю чувство собственного достоинства. Секса у нас было предостаточно. Но о любви упоминалось, только когда он читал мне свои стихи. Для женщины любовь ничто в сравнении с тем, что в ней кто-то нуждается. Этот человек командовал мною просто потому, что он был единственным существом в мире, кроме моей матери, кто не мог обойтись без меня. И так получилось, что два года

с лишним я сама не могла без него обойтись. У меня были и другие мужчины, но стоило ему свистнуть, и я мчалась на его свист. Вызволяла его из больницы, брала на поруки до суда, меняла ему простыни, заставляла принять ванну. И ложилась с ним в постель, как только он был способен на это.

— А потом настал день, когда...

— Потом настал день, когда я забеспокоилась, потому что недели две не было от него ни слуху ни духу. Телефона ему не ставили. Телефонная компания учла свой горький опыт с этим абонентом. Пришлось мне пойти к нему на авеню Б. Прихожу, а он сидит у себя в Комнате, в своем старом кресле, мертвый, и смрад — не продохнешь. В те годы была такая штука, называлась «дымок». Подогревали баллон «Стерно», выделяли из него алкоголь, пропускали через марлю и пили.

— Да, про «дымок» я слышал, — сказал Янк Лукас.

— Он тоже про него слышал, но техники этого дела не постиг. Съездил бы в Бауэри, ему бы там показали, как это делается, но он же был умнее всех и никогда ни у кого ничего не спрашивал. Эта черта характера да еще тяга к независимости стоили ему жизни. Он и меня-то бил, чтобы доказать, что не нуждается во мне. Но если бы он послал за мной, я бы привезла ему бутылку джина. Так у нас было заведено.

— Между ним и Бэрри Пэйном не так уж много сходства. Как вы считаете?

— Да, но между мной и Зеной Голлом сходство есть. Я не думаю, чтобы она пришла однажды домой и застала Бэрри Пэйна мертвым в кресле. Но Бэрри Пэйн придет однажды домой и Зены Голлом дома не застанет.

— Значит, кому-то другому она понадобится больше, чем ему?

— Может быть, может быть. Но скорее всего потому, что он внушит ей: я в тебе не нуждаюсь. Как это все произойдет, я не знаю, но ведь она крупная звезда. У меня была только мать, а у Зены Голлом есть зрители. Им она тоже нужна. Бэрри Пэйн слишком уж опекает свою собственность, мисс Голлом, и ухитряется стать между ней и публикой. Да, эта мартышка образованием не блещет, даже в школе не доучилась, и Пэйн лишает ее удовольствий, которые она вправе получать от жизни. Когда-нибудь она призадумается, эта Зена, и пошлет его к такой-то матери. Ее вечно под замком не удержишь. Она имеет право наслаждаться жизнью, а он лишает ее этого. Каждый человек имеет такое право. Мне она не нравится. И плевала я, что с ней будет, когда ваша пьеса сойдет со сцены. Но я жалею тех, кто не получает от жизни всего, что она может дать. Особенно

молодых жалко. Вот я оглядываю свою контору. Здесь, в этом помещении, я провела большую часть жизни за последние пятнадцать лет. У меня прекрасная квартира на Пятьдесят второй улице, недалеко от Ист-Ривер. Дом кооперативный. В квартире столько красивых вещей, прислуга-негритянка ведет хозяйство. Делает всю уборку, готовит, когда нужно. Раз в год я устраиваю прием. Гости — знаменитости. Отхватываю себе роскошное платье у Бергдорфа или у Хэтти. Шампанское. Черная икра. Кто-то даже назвал эти мои приемы «тайной жизнью Пегги Макинерни», как будто я всегда так живу. Нет, живу я не так. Пять раз в неделю я приезжаю сюда к половине десятого утра и зачастую торчу здесь до восьми часов вечера — веду телефонные разговоры с Калифорнией. Можно бы говорить с ними и из дому, но, если понадобится какая-нибудь справка, все здесь. Картотека. Контракты. Авторские договоры. Нельзя же требовать от секретарши, чтобы она засиживалась так поздно. И вот, кончу дела, спускаюсь вниз, хватаю такси, еду домой, выпиваю стаканчик-другой виски в одиночку и разогреваю еду, что мне оставила моя негритянка. Я хороший агент, потому что я несчастная женщина. Можно бы уйти на покой, но зачем? Какого черта я буду делать целыми днями? С кем я буду воевать, кроме нашего швейцара? И за кого воевать? Вот увидите, как я ринусь в бой за вашу следующую пьесу. С этой пришлось держаться скромно. Эллис Уолтон не из самых крупных продюсеров, но ведь и вы не Теннесси Уильямс. Во всяком случае, пока еще нет. Поэтому за те условия, которые я для вас выторговала, ждать аплодисментов мне нечего. Вам гарантирована первоклассная постановка со звездой в главной роли, но в смысле денег вы стоите на третьем месте. Эллис Уолтон и мистер и миссис Бэрри Пэйн вас опередят. Но когда будет следующая пьеса! Словечки, которыми меня обзывали раньше, покажутся нежностями из любовных записочек.

— Все вы как один заладили... Будь я суеверным, мне бы покоя не стало. Пьеса еще даже не репетируется.

— Вы попали в самую точку. Именно: «Все вы как один»... Начиная с меня — первой, кто прочитал вашу пьесу, отношение к ней у всех одинаковое. Ее ничто не может испортить — ни актеры, ни режиссура. Смуцал только третий акт. А как только вы его переделали, все сомнения отпали.

— Когда вы прочли новый третий акт?

— Вчера вечером. Будь вы рядом со мной, я бы вас съела, — сказала она. — Я бы вас живьем проглотила. Ручаюсь, что на Зену Голлом пьеса произвела такое же впечатление, и она еще вам покажет. Ну что ж, если

понадобится моя квартира, пожалуйста. Бэрри Пэйн не знает, где я живу.

— И в этом вы тоже все уверены, — сказал Янк Лукас.

— Я в этом больше других уверена. Говорила я вам, что она — это я двадцать лет назад. И не забывайте, что я — это она через двадцать лет.

— Нас поженили, а мы еще даже не знакомы.

— На этот счет я, может, и ошибаюсь. И если вы все-таки на ней женитесь, вряд ли вас хватит на двадцать лет. Или даже на двадцать месяцев.

— Не хватит ни на годы, ни на месяцы, потому что этого никогда не будет. Я уже был женат — и хватит с меня.

Она сощурилась и пристально посмотрела на него.

— Может, вам никто и не нужен. Мне это не приходило в голову, но, видимо, так оно и есть. Это иногда сопутствует гениальности, а вы, может, и гений. Да или нет?

Он долго молчал, прежде чем ответить.

— Задайте мне этот вопрос пьес через десять.

— Ответ хороший. Я его покупаю.

Он улыбнулся.

— Сейчас я гениален, пьес через десять, может, не потяну даже на «хорошо».

— Нечего размазывать. Я вас прекрасно поняла, — сказала она. Потом повернулась вполборота и посмотрела через плечо на фотографии писателей, занявших свое место в ее жизни.

— И что же? — сказал Янк Лукас.

— Не все они были моими любовниками, но я всех их любила, и, по моему, ваше место тоже здесь. Первое новое лицо за последние десять лет. Посмотрите, какие у них воротнички и галстуки. Как только они дышали?

— Некоторые, наверно, тяжело.

— Вот наглец. А ведь прав, сукин сын, — сказала она.

— Который из них поэт?

Она покачала головой:

— Его нет здесь. Он у меня дома, в спальне.

— Да? — сказал Янк Лукас.

— В рубашке, расстегнутой у ворота. Мне даже вспомнить тяжело, каким я увидела его в последний раз.

— Не надо мне объяснять. Я все понял по вашему рассказу.

— Верю вам. Что бы вы ни сказали, Янк, я, кажется, всему поверю. Пусть так и дальше будет.

— Ладно, — сказал Янк Лукас.

Пора было уходить. Дел у него больше никаких не предвиделось, но отсюда пора было уходить.

Оглядываясь назад, на следующие несколько месяцев, он чувствовал, что провел их, как в летаргическом сне. Со дня подписания контракта и до начала репетиций он жил спокойно, делать ему было нечего — только ждать, так как ускорить ход событий он не мог. Приступать к репетициям можно было лишь после того, как снимут спектакль, в котором занята Зена Голлом, а спектакль этот не снимут до тех пор, пока сборы с него не упадут ниже цифры, известной не Янку Лукасу и не Эллису Уолтону, а только Бэрри Пэйну. Сообщение о том, что Зена играет главную роль в новой пьесе, подогрело интерес к идущему спектаклю, и сборы на некоторое время поднялись. Потом в один прекрасный день Эллис Уолтон позвонил Янку Лукасу и сказал, что через три недели Зена Голлом начнет репетиции. Это известие лишь слегка рассеяло спокойно-сонное ожидание Янка Лукаса, но за два дня до первой читки спячка его кончилась. Через два дня ему предстояло возвестить свое слово миру. Мир оказался замызганным танцевальным залом во второсортной старой гостинице, а от имени человечества выступала горстка актеров да еще несколько мужчин и женщин, присутствие которых требовалось на репетиции.

В труппу входили: звезда — мисс Голлом; герой — Скотт Обри. Отца мисс Голлом должен был играть Джозеф У. Гроссман. Ее сестру — Шерли Дик. Брата — Рик Бертайн. Мать — Ада Энн Аллен. Негра, появляющегося в третьем акте, — Джаспер Хилл. Кроме Зены Голлом, всех их подбирали в конторе Эллиса Уолтона в присутствии самого Уолтона, Янка Лукаса и Бэрри Пэйна. Все они были опытные, проверенные актеры бродвейских театров. Даже у Рика Бертайна, самого Молодого из них, был длинный список успехов и неудач, кое-какой опыт в кино и, как и у остальных, выгодные выступления в рекламных программах по радио. Янк Лукас видел их на сцене и всех помнил. Двоих-троих Эллис Уолтон уже выпускал в других пьесах. Янк Лукас подозревал, что о каждой кандидатуре на роль сообщалось Бэрри Пэйну до того, как актера приглашали на пробу. Ну и что? Пусть уж Бэрри Пэйн даст свою тайную санкцию заранее, чем придирается к актерам потом. Состав труппы был в высшей степени удачный.

— Если уж пригласил актера, пробная читка — пустая формальность, — сказал Эллис Уолтон. — Но конечно, не для них. Они-то приходят на пробу взмыленные, особенно если автор им незнакомый. И вы, конечно, имеете право забраковать любого. Но когда актеры знают, что роль

у них в кармане, это и есть то, что я называю удачным составом труппы. Они уходят, чувствуя себя участниками будущего спектакля, и это на самом деле так. А если кого-нибудь придется потом выгнать, это уже другой коленкор. Тогда труппа у вас подобрана неудачно. Надо искать замену, и тот, кого вы наконец найдете, будет дуться на вас за то, что его не пригласили сразу. Вот это я называю неудачным составом. А нам посчастливилось с самого начала.

Режиссером спектакля был Марк Дюбойз.

— Не следовало бы вам это говорить, но он у меня даже вторым номером не шел, — сказал Эллис Уолтон. — Первым он ни у кого не идет, да и вторым не часто. Но это лучшее, что мы могли достать. Те, кого хотелось бы заполучить, все заняты на пять лет вперед, но даже если бы они были свободны, Зена начинает их отпугивать. Не сама по себе, а из-за Бэрри Пэйна. Вот мы и остались с Марком и с прочей шушерой. Марку до смерти хочется наложить лапу на Зену Голлом — не спать с ней, а поставить спектакль, в котором она будет участвовать. Для него это блестящая возможность. Марк прекрасно соображает, что если она будет хороша, как и следует ожидать, то часть успеха падет и на его долю за удачную режиссуру. Если же провалится, есть убедительное оправдание — Бэрри Пэйн ввязывается не в свое дело.

— У Дюбойза были хорошие постановки, — сказал Янк Лукас.

— Совершенно верно. И честно говоря, я уверен, что все, кто занят в этой пьесе, поднимутся на ступеньку выше в своей карьере, пойдут в гору. В том числе и Зена.

— С которой мне наконец-то предстоит познакомиться...

— В понедельник, в десять часов утра, на втором этаже гостиницы «Джадсон-Армз».

— А мне что-нибудь надо делать? Как там себя вести?

— Если хотите, можете произнести небольшую речь, но на вашем месте я бы просто обошел всех актеров, пожал им руки и сел. Речи пусть произносит Марк.

* * *

Танцевальный зал гостиницы «Джадсон-Армз» был наполовину заставлен стульями, досками и козлами для столов после банкета, который состоялся накануне. Сцену вполне заменяла оркестровая эстрада. Янк

Лукас и Эллис Уолтон поздоровались со всеми актерами, которые, за исключением Зены Голлом, явились заблаговременно, до десяти часов. Марк Дюбойз приехал за пять минут до назначенного времени, поздоровался с Янком Лукасом, Эллисом Уолтоном и с актерами и посмотрел на свои ручные часы.

— В такой дождь трудно поймать такси, и сегодня я промолчу. Но вы, Эллис, так и знайте: я не допущу, чтобы она взяла себе за правило опаздывать, — сказал Дюбойз.

— Да уж, пожалуйста, сегодня ничего не говорите, — сказал Эллис Уолтон.

— Замашки звезды. Только, я не потерплю таких штук. Я считаю, что звезда должна подавать пример и приезжать первой.

Делать актерам было решительно нечего, и они стояли как неприкаянные, переговаривались друг с другом, почти до половины одиннадцатого. Дюбойз посмотрел на часы. Он и его секретарь сидели в стороне от других, держа на коленях текст пьесы, и Дюбойз бормотал что-то своему соседу. Снова посмотрев на часы, Дюбойз захлопнул рукопись, бросил ее на стул и подошел к Эллису Уолтону.

— Давайте пошлем в буфет за кофе.

— Она будет с минуты на минуту, — сказал Эллис Уолтон.

— Ничего, если я пошлю от своего имени? — сказал Дюбойз. — Тедди — мой всегдашний поднос.

— Поднос? — сказал Эллис Уолтон.

— Вот что значит человек не работал на радио. Поднос — это тот, кто подносит кофе, — сказал Дюбойз.

— Новое словечко для меня, — сказал Эллис Уолтон.

— Ну что ж, если приходится ждать мадам, давайте устроим здесь маленькое кафе. Ведь за помещение заплачено?

Эллис Уолтон крикнул своей секретарше:

— Кофе с булочками на всю компанию. Вон там телефон — позвоните.

— И чтобы салфетки не забыли, — сказал Дюбойз. — А то всю рукопись захватаешь липкими пальцами.

— Салфеток, — сказал Эллис Уолтон своей секретарше. — Пора бы ей дать знать о себе. Может, она не в ту гостиницу поехала. Но Бэрри записал адрес.

— Неужто записал? А он коридорным не здесь служил? — сказал Дюбойз.

— Я думал, вы его лучше знаете, — сказал Эллис Уолтон.

— Кое-что знаю лучше. Кое-что нет, — сказал Дюбойз. — О-о!

Смотрите! Пожаловали.

Поддерживая Зену Голлом под локоток, Бэрри Пэйн подошел к ним троим — Эллису Уолтону, Янку Лукасу и Марку Дюбойзу.

— Не вздумайте смотреть на часы. Это я во всем виноват. Нам пришлось вернуться за моими очками. Хелло, Эллис. Лукас. Марк. С Зеной вы все знакомы.

— Я не знаком, — сказал Янк Лукас.

— Вас представили ей у меня дома, — сказал Бэрри Пэйн. — Впрочем, нет. Я ошибся. Тогда разрешите представить вам мою жену, мисс Голлом. Это автор — Янк Лукас.

— Очень приятно, — сказала Зена.

— Здравствуйте, — сказал Янк.

— Пойди поздоровайся с остальными, — сказал Бэрри. — Объясни, что опоздала по моей вине.

— Ничего я не буду объяснять, — сказала Зена. И отошла от них.

— Вожжа под хвост попала, — сказал Бэрри. — Мы уже до площади Колумба доехали, когда я сунул руку в карман — где очки? Можно подумать, она никогда ничего не забывала. Ну ладно, роль она учит быстро. Своих вступлений никогда не забывает. Так что мы не так уж много потеряли.

— Она быстро учит? Первый раз слышу, — сказал Марк.

— Может, что-нибудь другое слышали? — сказал Бэрри.

— Нет, ничего другого не слышал, но это слышу в первый раз. К счастью, реплики в нашей пьесе все между собой связаны, одна вытекает из другой. Я говорю это не потому, что здесь присутствует автор. Все так и есть. Диалог очень натуралистичен. Может быть, даже чересчур натуралистичен, но мы над ним еще поработаем.

— Нет, вряд ли, — сказал Янк Лукас.

— О-о! Что же, значит, никаких поправок, мистер Лукас?

— Поправок, вероятно, будет много. Но не потому, что диалог слишком натуралистичен, — сказал Янк. — Сценические — пожалуйста. Например, когда надо будет поскорее убрать какой-нибудь персонаж за кулисы. Но натуралистичный диалог так натуралистичным и останется.

— Вы что, решили одернуть меня, мистер Лукас?

— Мне ваши категорические заявления не нравятся. Диалог, видите ли, слишком натуралистичен.

— Даже если вы сами убедитесь, что та или иная реплика для сцены не годится? — сказал Марк.

— Повторяю, если в спектакле понадобятся поправки, я их внесу. По

всей вероятности, внесу. Но только в этом случае. А что касается одергиваний, так я кого угодно одерну, если мою пьесу начнут коверкать.

— Быстро он усвоил свои права, — сказал Марк.

— Так оно будет лучше, — сказал Янк. — Давайте договоримся с самого начала. Вы, мистер Дюбойз, будете ставить спектакль, а не писать пьесу заново. Актеры будут играть ее. Хотя это моя первая, а может, и последняя пьеса на Бродвее, я знаю, что актеры иной раз могут сотворить с текстом. Я могу уйти отсюда вместе со своей пьесой и опять заняться мытьем посуды. Но прошу вас раз и навсегда запомнить, что пьеса пойдет на сцене именно в таком виде, в каком вы все ее читали.

Первым нарушил молчание Бэрри Пэйн:

— Он прав. Я считаю, что до показа на публике никакие поправки не нужны.

— Мне кажется, я хорошо знаю Янка Лукаса. Он человек разумный, — сказал Эллис Уолтон.

— Трое против одного — комбинация не из самых уютных, — сказал Марк Дюбойз. — Четверо против одного, если посчитать Зену, которая приезжает на первую репетицию с опозданием на тридцать пять минут. Что ж, я готов откланяться, если так пойдет и дальше.

— Никто не хочет, чтобы вы откланялись, Марк, — сказал Эллис Уолтон.

— Зена опоздала по моей вине, — сказал Бэрри.

— Хм-м?

Они оглянулись на звук голоса Зены.

— Кто-то упомянул имя Зена, или мне это показалось? Давайте работать, друзья. Хватит портить воздух. Труппа хорошая, Эллис. Знаете, я все думала по дороге сюда, почему говорят репетиция? У нас еще ни одной петиции не было. Как же мы можем репетировать? Это острота, дружок.

— Она наслушалась Фреда Аллена, — сказал Бэрри.

— А я вот не забываю свои окуляры, — сказала она и, вынув из сумки очки в массивной темной оправе, надела их. — Черт подери! У меня хорошее настроение. Так и хочется запустить свои новые зубы в пьесу мистера Лукаса.

— Вы спасли положение, мисс Голлом, — сказал Янк.

— Как? — сказала Зена.

— Потом, — сказал Бэрри.

— Начинаем! — крикнул Марк. — Прошу всех на сцену. Садитесь, пожалуйста, и начнем читку. Пройдемся по пьесе. Без особых стараний. Просто почитаем, посмотрим, о чем тут говорится.

— Кофе с булочками, — сказала секретарша Уолтона, увидев официанта.

— Булочек не надо. Дайте им кофе, — сказал Эллис Уолтон.

Янк Лукас смотрел, как актеры поднимаются на эстраду, прихватив локтем стулья за спинку, держа в руках текст пьесы и стаканчики с кофе, сдвинув очки на лоб или держа их за оглобли в зубах. Начало было малообещающее.

— Запоминайте, Янк. Все запоминайте, — сказал Эллис Уолтон. — Такое бывает только раз в жизни. До следующей пьесы.

Янк Лукас кивнул. Ему хотелось послушать Марка Дюбойза.

— Акт первый, сцена первая. При поднятии занавеса... — прочел Марк по рукописи.

— Дилетант, — сказал Эллис Уолтон. — Он даже ремарки читает с выражением. Только откроет рот — и пошло-поехало. Слушайте!

— Я слушаю, — сказал Янк Лукас.

— Актером мне никогда не хотелось быть, но я обожаю все, что...

— Ш-ш, ш-ш.

Марк Дюбойз снял очки и подошел к краю эстрады.

— Прошу прощения, но если нам будут мешать... Должна быть полная тишина... Начнем снова. Акт первый. Сцена первая.

Пьесу прочитали до конца, без перерыва на антракты. Когда чтение было закончено — из суеверия без последней реплики, — они посидели минуту молча, потом стали с глубокими вздохами переводить дух.

— Попрошу всех собраться здесь снова к двум часам, — сказал Марк Дюбойз. — Можете прийти к этому времени?

Все сказали, что могут.

— Пьеса замечательная, замечательная, и нам всем придется потрудиться над ней. До седьмого пота, — сказал Марк. — Благодарю вас.

Актеры спустились с эстрады и разошлись в разных направлениях. Зена Голлом взяла направление на Янка Лукаса и села на стул рядом с ним. Несколько секунд — может быть, семь-восемь — она сидела молча, не глядя на него, потом встала и подошла к мужу.

— Давай позавтракаем здесь. Ресторан внизу, наверно, есть, — сказала она.

— Ресторан есть. Я заметил, когда мы вошли, — сказал он.

— Я не очень голодна, но немножко поесть надо, — сказала она. — Ты хорошо меня слушал?

— Конечно, — сказал он.

— Ну, как вообще?

— Вообще? — сказал он. — Это же просто читка. Зачем тебе вообще?

— Я думала, он мне что-нибудь скажет.

— Кто? Лукас?

— Я думала, он скажет что-нибудь, а он ничего не сказал.

— Ах, вот почему ты шлепнулась на стул рядом с ним.

— Мне хотелось хоть что-нибудь от него услышать, — сказала она.

— А, брось! Откуда в тебе вдруг такая неуверенность? — сказал он.

— Может, он тебя боится? — сказала она.

— Кто? Он? Не на таковского напала. Ну как, спустимся вниз или пусть сюда принесут?

— Сам решай, — сказала она.

— Пойдем вниз, — сказал он.

— Я сегодня была в форме. Лучше у меня не получится. Я вошла в эту пьесу, — сказала она.

— А, глупости. Так и в книгу входят, когда читают, но игрой тут еще и не пахнет.

— До тебя это не дошло, но я надеялась, что до него дойдет. Если я каждый раз буду так выкладываться, меня надолго не хватит.

— Пойдем позавтракаем, — сказал он.

— Мне эта пьеса не нравится, особенно третий акт. Ты ничего не заметил, но мы все... не знаю... Мы все начали кашлять, будто этого газу нанюхались.

Они пошли клифтам.

— То есть как это, пьеса тебе не нравится?

— Джасперу она тоже не понравилась. Я сразу это почувствовала, — сказала она.

— Психопатка.

— Никто и не пробовал играть, — сказала она. — Только Шерли Дик. А другие — нет. Даже Скотт Обри. Думаешь, мы просто сидели и ждали своих реплик? Знаешь, что я думаю? Я думаю, что можно сидеть на сцене без декораций, не вставая с места, и просто читать эту пьесу, и она дойдет до публики. Сейчас столько говорят о всяких новшествах. Вот и мы могли бы поставить спектакль без всякой игры.

— А я думаю, ты совсем рехнулась, — сказал он. — Я слушал ваше чтение битых два часа, и пьеса не произвела на меня никакого впечатления. Ее надо играть, и играть вовсю.

— Короче говоря, я, как всегда, ошибаюсь, — сказала она.

— Короче говоря, ты испугалась этой пьесы и хочешь от нее отвертеться. А почему? Потому что по сравнению с ней в других

спектаклях играть тебе было раз плюнуть, а с пьесой Лукаса это у тебя не выйдет. Ну, а что ты скажешь о самом Лукасе?

— О Лукасе?

— Ты... гм, не получала от него никаких сигналов?

— Сигналов? Я его, наверно, даже не узнаю, если встречу на улице.

— Расскажите вашей бабушке. Не успели кончить, как ты сразу взяла на него курс. Значит, он?

— Что он? — сказала Зена.

— Тот самый, к кому нужно присматриваться.

— Может быть, — сказала она.

Он ударил ее. Они стояли в коридоре, дожидаясь лифта. Она тронула подбородок, куда пришелся удар.

— Мог бы приберечь это впрок, — сказала она. — Когда будет за что.

— И сейчас есть за что, — сказал он. — Будто мне надо видеть тебя с ним. Я знаю, когда у тебя это начинается.

— Вот как! Раньше меня знаешь, — сказала она.

— Совершенно верно. Раньше тебя. Увижу, как ты смотришь на мужчину, и все мне ясно. Ты знаешь, куда смотреть.

— Куда надо, туда и смотрю, — сказала она.

Он ударил бы ее еще раз, но в эту минуту на этаже остановился лифт со старомодной зарешеченной кабиной.

— Вниз, — сказал лифтер.

— Вниз тоже неплохо, — сказала Зена. — Вниз так вниз. — Она улыбнулась мужу, и муж все понял — так ясно дала она ему понять, что он потерял ее. Когда они вышли из лифта, вид у Зены был сияющий. — Поезжай в город. Я одна позавтракаю, сказала она.

— Что это ты вдруг стала командовать? — сказал он.

— На твоём месте я бы раскусила намек, — сказала она.

— Если ты думаешь, Зена, что это сойдет тебе с рук, ты, как всегда, ошибаешься, — сказал он.

— Пока, миленький. Может, еще увидимся, — сказала она.

В «Джадсон-Армз» было кафе, сейчас забитое до отказа обычной клиентурой — служащими меховых фирм. Многие узнавали Зену, она слышала свое имя. Старший официант не знал ее, но он понимал толк в собольих шубках и потому сказал:

— Сейчас нет свободного столика, но, может, вы подождете в холле?

Зена оглядела зал в поисках знакомых лиц и увидела Эллиса Уолтона и Марка Дюбойза.

— Вот кого я ищу, — сказала она и подошла к ним.

— Садитесь с нами. А где Бэрри?

— Ему надо было в город. Не вставайте... Ну, уж раз встали, ладно, — сказала она. — Что у вас заказано?

— Телячья отбивная, две порции, и салат ассорти, — сказал Эллис. — У Марка — йогурт.

— Я тоже буду отбивную, — сказала она. — Только без салата. Еще, пожалуй, помидоры, если у них есть в меню. — Официантка записала заказ и удалилась. — Ну, так что нового?

— Ничего. А у вас что?

Они засмеялись.

— Вы знаете, у меня было такое подавленное настроение, хотя нет, это не то. А где Лукас?

— Пошел постричься, — сказал Эллис.

— Разве я не права, Марк? У меня было такое чувство, точно нас всех засасывает, а мне самой как будто этого и не хочется.

— Ой-ой, что вы говорите? — сказал Эллис.

— Да нет, она права. Описание точное. Мне за всю мою карьеру не приходилось такого испытывать при первой читке. Будем надеяться, что это доброе предзнаменование. Да я уверен, все пройдет хорошо.

— Знаете, в чем мне признался Скотт Обри? — сказал Эллис. — Он говорит: «Я просто в ужасе». Говорит: «Если я напортачу в этой пьесе, то уйду со сцены».

— На сей раз я ему верю, — сказал Марк. — У нас у всех было такое замечательное esprit. Правда, Зена?

— Какое эспри — на шляпу? При чем тут эспри? — сказала она.

— Нет, esprit de corps. Когда все дружно работают ради общего дела.

— А, да, конечно, — сказала она. — Да, да.

— По-моему, у Зены какое-то дурное предчувствие, — сказал Марк.

— Интересно, как примут пьесу на утренниках? Насчет вечерних спектаклей я не волнуюсь.

— Публика теперь не дура, — сказал Марк. — Когда я...

К их столику подошла официантка.

— Я вас не предупредила, мэ. Ваш заказ будет готов только через двадцать минут.

— Принесите ей мою отбивную, а мне — ее, — сказал Эллис. — Моя, наверно, уже готова.

— Нет, тогда дайте мне сандвич с бифштексом. С кровью. И порцию помидоров ломтиками. И чашку кофе. Кофе подайте, когда его отбивные будут готовы.

— А филе миньон не хотите? — сказал Эллис.

— Нет, спасибо. Сэндвич с бифштексом, — сказала Зена. — Эллис, мы так и будем здесь репетировать до отъезда в Бостон?

— Да. А что?

— Просто спрашиваю, — сказала она.

— Так вот насчет утренних спектаклей по средам, — сказал Марк. Он продолжал болтать, попивая йогурт, а покончив с ним, сказал: — Ну, детки, я вас оставляю. Пойду позвоню кое-кому.

Эллис проводил его взглядом.

— Надеюсь, я не ошибся в выборе, — сказал он. — Ну, что вы там задумали, Зена?

— Вы не сможете достать мне номер здесь? — сказала она.

— Здесь, в гостинице? Чтобы было где полежать, отдохнуть? Конечно, смогу.

— И чтобы никто об этом не знал — только вы и я, — сказала она.

— Не понимаю. И Бэрри тоже нельзя знать?

— Мы поругались, — сказала она. — Только что, несколько минут назад. Домой я, конечно, вернусь. Но мне нужен номер здесь и чтобы он об этом не знал. Ну как, сделаете?

— Конечно. А больше вы ничего не скажете? Лучше, если я буду знать.

— Когда будет что знать, тогда и скажу.

— О-о! Я должен предостеречь вас, Зена. Предупреждаю как друг. Бэрри может сделать вам гадость.

— Хо-хо! Да не может быть!

— Под контрактом стоит ваша подпись, но вы читали его?

— Нет.

— Тогда вот что я вам доложу. Пока вы с Бэрри вместе, контракт составлен для вас очень выгодно. Но если вы с ним разойдетесь, не видать вам своей доли. Лично вы не участвуете в финансовой стороне спектакля. Будете работать на жалованье, вот и все, и даже тогда из вашего жалованья ему причитается десять процентов. Кто этот человек? Не Скотт Обри?

— Нет.

— Ну что ж, рад это слышать, — сказал Эллис. — Я мог бы кое-что сообщить вам о нем.

— Бэрри избавил вас от этого труда, — сказала она. — Он даже старика Джо Гроссмана не пощадил. От Бэрри не дождешься доброго слова ни о ком.

— Да, это ему несвойственно. Почему вы, Зена, вышли за него?

— Хотите узнать? Пожалуйста! Бэрри единственный, кто попросил

меня стать его женой. Один-единственный. Почему он решил жениться на мне, я знаю. С самого начала знала. Что ж, это была не такая уж плохая сделка. Доживешь до определенного возраста — и начинаешь задумываться. Господи Боже! Я составила список всех, с кем спала, и двоих забыла. Разве это жизнь? Надо же ее хоть чем-то отметить. Я ее обметила двумя швами после того, как мне вырезали аппендикс и кое-что еще. До того дошла, что за мной начали охотиться педерасты и лесбиянки. «Вот Зена идет!», «Эй, Зен!» Так вот, Бэрри меня оттуда вытащил. Спас, пока еще можно было спасти. Любовник он первоклассный. Иначе я бы не прожила с ним так долго. Я отдаю должное ему, сукину сыну, но теперь час пробил. Пробил час.

— Кто-нибудь другой?

— И да и нет, — сказала она.

— Тогда я знаю кто, — сказал он.

— Может быть, и знаете, Эллис.

— Разрешите полюбопытствовать — не тот ли, кого сейчас подстригают?

— Я даже не знаю, как он относится к женщинам. Мне и пяти минут не удалось с ним поговорить. Но все равно я его покорю во что бы то ни стало.

— Конечно, — сказал Эллис.

— У него кто-нибудь есть?

— Вот не знаю! Жена была, но, по-моему, он этими делами не очень интересуется, хотя от того, что на него идет, не прочь. Некоторые молодчики афишируют свою готовность: вошел в кафе, поправил галстук, коснулся лацканов, чуть тронул платочек в кармашке...

— Да, да.

— Но он не такой, — сказал Эллис.

— Да, он не такой.

— Голова не тем занята. Большая склонность к самоанализу. Послушали бы вы его рассказы, как он работал мойщиком посуды в кафетерии. Кажется, в одном из заведений Хорна и Хардарта. К жизни относится философски — понимаете? Поест досыта и иметь пристанище, где можно спать и писать пьесы, — вот какие у него были требования. И в этом вся суть. Он сумел подняться над своим убогим окружением, потому что у него есть тонус — творческий тонус! Это определяет все.

— Тонус? Тонус... это... А, понимаю.

— Да, творческий тонус. И я буду с вами совершенно откровенен, Зена. По моему глубокому убеждению, этот молодой человек станет одним

из подлинных гениев наших дней. Но подождите, милая, подождите. Дорога в мире творчества не вся усыпана розами. Не сердитесь, что я все это говорю, но, может быть, мое предостережение пойдет вам на пользу. Впереди вас ждет много трудного — и для головы и для сердца.

— Позади этого тоже хватает, — сказала она.

— Решайте сами. Так ли, эдак ли — решать вам нужно самой. Я говорю как друг, может быть, несколько нудно и старомодно, но позвольте мне воспользоваться правом нашей дружбы и... Да я на десять лет старше вас. Древние, испытанные жизнью прописи иной раз кажутся избитыми, но в них много, много правды.

— Ах, мне бы ваше образование, — сказала она.

— У меня позади всего лишь театральный колледж Эвендера да вечерние лекции в Нью-Йоркском университете. Классического образования, Зена, я не получил, но классикой зачитывался когда только мог.

— Я тоже посещала Эвендера, но потом бросила. Как только получила профсоюзный билет.

— Вам, может, интересно будет знать, что у джентльмена, о котором мы беседуем, нет законченного высшего образования. По правде говоря, ваш муж, Бэрри Пэйн, гораздо образованнее Лукаса, Бэрри получил бакалавра искусств в колледже Сими.

— Я не о степенях. Есть у него степень или нет, Лукас все равно интеллигентнее Бэрри.

— Да, Лукас больше подходит под это определение, чем Бэрри Пэйн, но умалять достоинства Бэрри Пэйна тоже не следует. У Джаспера Хилла есть диплом об окончании колледжа. И у Вилберфорса. Джо Гроссман кончил юридический, прежде чем пойти на сцену. Шерли Дик занималась в Колумбийском университете. Труппа у нас собралась весьма интеллектуальная. И никто из них не годится вам в подметки, дорогая.

— Хотите — верьте, хотите — нет, Эллис, но я сама себе в подметки не гожусь, — сказала она. — Нет, серьезно, Эллис, из-за меня у вас неприятностей не будет. Это наше дело — мое и Бэрри. Я прошу вас об одном — достаньте мне номер здесь, в гостинице, и притворитесь, будто ничего не знаете. Но вы и на самом деле ничего не знаете. Да и знать-то нечего. И вот еще что — Сид Марголл. Он прислуживает всем фельетонистам в городе.

— Нет, нет, Сиду, конечно, ни слова.

— Этот прохвост может все изгадить. Если он заденет Лукаса, вот, честное слово, брошу я вашу постановку к чертям собачьим.

— Если он заденет Лукаса! — сказал Эллис. — Значит amour toujours^[1]? Странная вы женщина, Зена. Первый раз такую встречаю.

— Можете это повторить, только не надо, — сказала Зена.

Труппа стала теперь труппой. Вернувшись на репетицию после завтрака, актеры не просто собрались в зале, актеры воссоединились, и то, что около двух часов они провели врозь друг с другом и врозь с пьесой, уже не имело значения. Может быть, они говорили между собой о пьесе, а может, и нет — не важно. То, что каждый думал о ней, каждый чувствовал ее, было несомненно. Они обменялись улыбками, спокойно, дружески, поднялись на эстраду и заняли те же стулья, что и на утренней читке.

Марк Дюбойз, в спортивных брюках и в темно-синем свитере, обратился к ним, прижимая текст пьесы к животу.

— Все на местах, и никто не опоздал, — сказал он. — Многие из вас не знакомы с моими методами работы, так что два слова об этом. Я подхожу к каждой пьесе по-разному. В работе над этой, я считаю, нам надо все время быть вместе. Есть вещи, которые можно репетировать кусками, но здесь такой метод не годится. Не отпрашивайтесь у меня на рекламные радиопередачи или еще на что-нибудь в этом роде. Каждый из вас — занят он в сцене или нет — должен присутствовать на всех репетициях. Это пьеса настроений, и мне нужно, чтобы актеры были на месте и проникались настроением не только своих сцен, но и тех, где они не заняты. Если у кого-нибудь есть дела на радио, о которых я не знаю, будьте добры освободиться от них. И от всего, что будет отвлекать вас от настроения этой пьесы или помешает присутствовать на всех репетициях. То же относится и к манекенщицам. Те, у кого есть другие договоры, будьте добры сказать мне об этом сегодня же. Все. Сейчас мы проведем еще одну читку, но теперь я попрошу вас читать так, как вы находите нужным по роли. Если вам кажется, что надо кричать, — кричите. Если запинаться — запинаяйтесь. Не обещаю, что именно с этим толкованием мы придем к концу, когда поставим точку. Но я не тот режиссер, который превьше всего ставит собственную особу и отвергает все прочие идеи. — Он надел очки и сел на стул. — Акт первый, сцена первая. При поднятии занавеса...

Эта читка заняла гораздо больше времени, так как актеры воспользовались разрешением на свободу действий. Выявились разные индивидуальности и разные манеры исполнения, между разными индивидуальностями назревали разногласия. Актеры уже не чувствовали над собой власти пьесы, и контраст между утренней и дневной читкой был налицо. Когда читка кончилась, Марк Дюбойз сказал:

— Благодарю вас. На сегодня все. Завтра собираемся в десять тридцать утра. — Он сошел с эстрады и сел рядом с Янком Лукасом и Эллисом Уолтоном. — Ну и наворотили, — сказал Марк Дюбойз.

— Бывает, — сказал Эллис Уолтон.

— И ведь знают, что наворотили, — сказал Марк. — До самой ночи будут ругать партнеров, но ведь они профессионалы, потом в душе сознаются, что сами виноваты не меньше других.

— Не вижу, чтобы вы очень унывали, — сказал Янк Лукас.

— А я и не унываю. Я просто показал им, что пьесе нужен режиссер. Надеюсь, и вам это стало ясно.

— Я в этом никогда не сомневался, — сказал Янк Лукас.

Зена Голлом болтала с Шерли Дик, слушала, что та говорит, но краешком глаза все поглядывала на Эллиса, Марка и Янка. Как только Марк отошел от них, она подошла к Эллису.

— Ну как, устроили? — сказала она.

— Да, да, — сказал Эллис. — На мое имя. — Он вынул из кармана ключ от номера и сунул его Зене, для виду нежно сжав ей руку.

— Спокойной ночи, друзья, — сказал Эллис. Он вышел из зала, остальные потянулись следом за ним. Зена Голлом и Янк Лукас остались одни.

— Не расстраивайтесь, — сказала она. — Мы сделали все, чтобы испохабить вашу пьесу, но это не вышло.

— Вы мою пьесу не испохабил. Просто убедили меня, что хорошие актеры могут быть плохими актерами, — сказал Янк.

— А я решила, что вы расстроились. Вид у вас был уж очень расстроенный.

— Откуда вы знаете? Может, у меня всегда такой вид.

— Да, верно. Может, всегда такой. Значит, не расстроились?

— Нет. Расстроился.

Она рассмеялась.

— Поди узнай, что у вас там внутри, — сказала она.

Кто-то отворил дверь, посмотрел на них и тут же затворил ее.

— Наверно, хотят, чтобы мы очистили помещение. Эллис говорил, это у них банкетный зал.

— Хотите куда-нибудь пойти? — сказала она.

— Ну что ж, пойдём выпьем или еще что-нибудь придумаем?

Зена подняла руку с ключом от комнаты, и номерок повис, болтаясь на тяжелой металлической бирке.

— Придумаем что-нибудь еще, — сказала она. — Пришлось

подождать, пока вы мне это предложите. Не хотелось вам навязываться.

— От чего ключ? — сказал он.

Она прочитала надпись на бирке:

— «Номер восемьсот девятнадцать. „Джадсон-Армз“. При возврате почтовые расходы оплачиваются». Это, наверно, лучшее, что вам предлагали за сегодняшний день.

— Это предложение? А как же Пэйн?

— Откровенно говоря, понятия не имею.

— Обо мне вы тоже не имеете никакого понятия. Но вам хочется раскусить меня, — сказал Янк.

— Если уж на то пошло, так скоро вы меня тоже сможете раскусить, — сказала она.

— Какой номер? Восемьсот девятнадцать? Это мои счастливые числа, — сказал Янк.

Зена улыбнулась.

— Счастье тут ни при чем, — сказала она. — Не подняться ли вам туда первому?

— Да. А то вдруг там банкет устроили, — сказал Янк. Он нагнулся и мягко поцеловал ее в губы.

— Спасибо, — сказала она. — Именно то, что нужно. А то у меня уже задор стал проходить.

— Совсем не вовремя. Через три минуты увидимся? — сказал он.

— Лифт ходит медленно. Может, через четыре, — сказала она. — Какой там номер?

Он снова взглянул на бирку.

— Восемьсот девятнадцатый. Мои счастливые числа. Восемь и девятнадцать.

Номер восемьсот девятнадцать оказался двойным. Там даже стоял рояль. Янк нажал «до» — рояль был расстроенный. Он бросил свое двухстороннее пальто на плюшевое кресло. В стеклянной пепельнице лежала обгорелая спичка, одна-единственная спичка из желтой прессованной бумаги.

— Воссоздадим картину преступления, — вслух сказал Янк. — Я склонен думать, что ленивая горничная закурила сигарету, потом вышла из номера, унося с собой пылесос и пыльные тряпки. Господин инспектор, я предлагаю выяснить, кто из здешних горничных имеет обыкновение курить, не вынимая сигареты изо рта. Уверен, что она и есть убийца. Всего хорошего, господин инспектор. Я успею в Альберт-холл как раз к началу концерта.

В номере стояла двуспальная кровать с медной сеткой, с тонким шерстяным одеялом, сверху лежали две мягкие подушки и покрывало в розочках. Потрескавшаяся эмаль в ванне и в раковине была как вены на носу у коммивояжера. Янк чуть не прозевал стука в дверь. Он распахнул ее и тут же закрыл, и Зена замерла на месте.

— Господи Боже! Гостиная? Ну конечно, узнаю Эллиса. Номер доставал он. — Она сняла свою соболью шубку и аккуратно положила ее на то же кресло, где лежало пальто Янка. Потом прочесала пальцами волосы, медленно подошла к нему вплотную и подняла голову, подставляя губы для поцелуя. — Теперь ты распоряжайся, — сказала она.

— Я?

Она с силой закивала головой.

— Да, да, ты, — сказала она. — У меня опять задор уходит.

— Прямо сейчас? — сказал он.

— Да. — Она поцеловала его и сняла жакет и свитер. — Ты, я вижу, не торопишься.

— Я худущий.

— А я не считала тебя толстяком, — сказала она. — Ну, что же ты? Я первой не буду раздеваться.

— Почему?

— А вдруг пожар? Ты одетый, а меня придется накрывать прорезиненным плащом. — Она вздрогнула. — У-у! Как представишь себе, какие плащи у пожарных! — Она развязала ему галстук и расстегнула рубашку. — Давай оба разденемся.

Они сели на кровать, и вдруг она опустилась перед ним на колени.

— Зена!

Она встала и легла в постель.

— Скорей! — сказала она. — Скорей, скорей!

Он завел руку ей за шею, а другой легонько сжал грудь. И вдруг она судорожно обняла его и так сильно прижала к себе, что ему сдавило ребра. И почти так же внезапно отпустила. Потом провела пальцем ему по губам и улыбнулась.

— Кто бы мог подумать? — сказал он.

— Ты. Ты все знал наперед. А я — нет. Я не такая умная. Но ты все знал. Ведь знал?

— Трудно сказать. Может быть.

— Да, ты знал. Я не знала, а ты знал. Ты умный, ты все знаешь.

— Нет, не все, — сказал он.

— А чего не знаешь, того и знать не стоит, — сказала она.

— Да, может быть, — сказал он.

— Тебе не надо уходить? Тебя какая-нибудь девчонка не ждет?

— Нет.

— Можно нам здесь остаться?

— Да.

— Мы останемся здесь, пока денег хватит, а потом я выйду и поработаю на тебя. За обеденный перерыв могу отхватить сто долларов. Для этого надо только появиться в кафе. Там полно мужчин. Мужчин с деньгами. Буду возвращаться каждый день с сотней монет в кармане и швырять их тебе к ногам.

— Фу, до чего противно, — сказал он.

— И мне противно. Мне никто не нужен, кроме тебя. Следующий вопрос: как я отделаюсь от Бэрри Пэйна?

— Ты хочешь отделаться от него?

— Да, собственно, уже отделалась.

— Так я и думал, — сказал он. — Но это вряд ли окончательно.

— А для меня окончательно — будто я наняла гангстера, чтобы он укокошил его. И он все понимает. Но это еще не значит — совсем отделаться. Он повиснет на мне.

— Оставь его.

— Оставить? То есть бросить?

— Насколько я понимаю, тебе это даром не пройдет. Но жить с ним не надо.

— Вот смешно! Я так к этому привыкла, мне и в голову не приходило, что его можно бросить. Нет. Он напортит тебе с твоей пьесой.

— Каким образом?

— Не знаю, но если будет хоть малейшая возможность, он на это пойдет. Нет. Сегодня я вернусь домой и чего-нибудь ему навру. Он сейчас немножко раскис и всему поверит, потому что захочет верить. Он мастер охмурять людей, но я его кое-чем удивлю. Охмуряю же я восемьсот человек по восьми раз в неделю, включая утренники. И его охмурю.

— А что у вас случилось?

— У меня случился ты — вот что случилось. Давай уж я тебе расскажу, как было. — И она рассказала ему все — от конца утренней читки и до своего внезапного решения позавтракать без Бэрри Пэйна.

— А ты можешь положиться на Эллиса Уолтона? — сказал он.

— Ему надо, чтобы я у него работала. Не может же он дать Бэрри Пэйну роль в твоей пьесе. В этом я на Эллиса Уолтона рассчитываю.

— Почему надо строить какие-то расчеты? Рассчитывать на Эллиса

или на кого другого?

— Без расчета нельзя, — сказала она.

— Нет, ты не права. Он дома сейчас?

— Кто? Бэрри? Будь спокоен. Ходит по квартире из угла в угол и прикидывает, что со мной делать. И что сказать мне, когда я вернусь. Конечно, он дома.

— Тогда давай оденемся, пойдем и все ему сами скажем.

— Скажем, что мы с тобой тут делали?

— Да. Без всяких расчетов. Без охмурения. Вот в чем вся ваша беда. Вы так привыкли строить расчеты и охмурять друг друга, что упускаете из виду самый лучший расчет. Правду.

— Ну конечно! А где я буду спать сегодня ночью?

— В квартире, за которую ты платишь. Со мной.

— Что-о?

— Придет время спать, мы пожелаем ему спокойной ночи и ляжем. Ты и я.

— Сумасшедший Лукас. Мешугене. Не такой, который по улицам бегаёт, но все-таки мешугене.

— Я понимаю, что это значит, — сказал он. — Но я не сумасшедший.

— У него бешеный нрав. Кошмарный.

— Лишь бы не стрелял, — сказал Янк.

— Да не выстрелит он. Есть у него дружки, которые стреляют где придется, но дома он револьвера не держит.

— Тогда чем он опасен? Не станет же он тебя шантажировать.

— Почему не станет?

— Разнести на весь мир, что мы спали в одной квартире с ним? Хорошенький у него будет вид после этого.

— Не хотела бы я иметь такого врага, как ты, — сказала она.

— Мы с ним не враги.

— Но и не друзья, будь спокоен. — Она задумалась на минуту. — А что мы, собственно, теряем? Давай попробуем. Интересно будет посмотреть, как вытянется морда у этой крысы.

— Правильно.

— Я все сделаю, о чем ты меня ни попросишь. Попроси меня о чем-нибудь. Если мы здесь еще пробудем, я и без твоей просьбы это сделаю. — Она коснулась легонько его щеки. — Я тебе нравлюсь?

— Да, — сказал он.

— Только это мне и надо знать, — сказала она. Вместе они спустились на лифте, взяли такси и поехали к ней домой. У двери она сказала:

— Ну конечно, когда надо, так у меня нет ключа. — Она позвонила, и Бэрри Пэйн открыл им дверь. Полное отсутствие удивления при виде Янка Лукаса выдавало степень его ошеломленности. Выдержка была не в его характере.

— Хелло, — сказал он. — Ну как, все сошло благополучно?

— Ты про читку? — сказала она.

— Про что же еще? — сказал он.

— Сейчас услышишь, — сказала Зена.

Он посмотрел на Янка:

— Ах ты, стервец несчастный!

— Я несчастный? Отнюдь, — сказал Янк.

— Ты, шлюха, зачем его сюда привела? Защитника себе подыскала?

— Я об этом не подумала, — сказала Зена. — Но такая мысль, наверно, где-то у меня была.

— Я спросил, есть ли у вас револьвер, но она говорит, что нет, — сказал Янк.

— Револьвер мне не нужен. Я потом с ней разделаюсь.

— Когда? — сказал Янк.

— Когда выставлю тебя отсюда.

— Но я остаюсь. В этом-то все и дело, — сказал Янк.

— Слушай, дружок, ты переспал с этой шлюхой, ну и ладно. Она со столькими валялась, что всех и не помнит. Ей это все равно, что стакан воды выпить. И честно говоря, мне на это наплевать. Но у нас с ней есть другие дела, и ты тут ни при чем. Времени только жалко, а то я бы такое тебе о ней порассказал, что тебя бы стошнило.

— Ничего, сам узнает, — сказала Зена. — А от тебя, Бэрри, требуется только одно — найди себе другое место, где жить.

— Это зачем же? Квартира на мое имя. Я здесь хозяин. Могу вызвать полицию, и его выкинут отсюда.

— Но мы все знаем, что вы этого не сделаете, — сказал Янк.

— Мою репутацию ты не погубишь, потому что у меня ее нет, — сказала Зена. — Ты сам говоришь, я шлюха.

— И мою репутацию вы тоже не погубите, потому что и у меня ее нет. Я бывший журналист и могу вас заверить, что какой бы скандал вы ни устроили, мне это не повредит. Наоборот — спросите у Сида Марголла. Единственный, кто пострадает, — это вы, рогоносец. А что касается симпатий публики, то нет такого человека, который не считает вас стервцом. И вы этим сами гордитесь.

— Что же, мы так и будем стоять у дверей? Давайте пойдём сядем, —

сказала Зена. — Я сейчас вернусь. Мне надо зайти в ванную.

Мужчины перешли в гостиную высотой в два этажа, которая была оборудована и обставлена, несомненно, профессионалом-декоратором. Никаких других отличительных черт в ней не замечалось. Ценники с вещей были сняты, но они как бы незримо присутствовали на стульях, столиках, коврах, лампах и ничем не примечательных картинах. Всюду стекло, стекло, стекло. Янк Лукас сел, Бэрри Пэйн так и остался стоять.

— Я не собираюсь посягать на ваш честный заработок, — сказал Янк.

— Кто, вы? Да где вам! Вы еще не привыкли к деньгам и ничего в делах не смыслите. Вас только одно сейчас интересует — поспать с моей женой. А ей интересно поспать с драматургом. Я это предвидел. Я ведь знаю ее вдоль и поперек. Будь у вас большая мошна, я бы вам эту дамочку продал, но у вас ничего нет, а таких денег вообще никогда не будет.

— Просто из любопытства, во сколько вы ее цените?

— Ну, скажем, пятерка. Я оцениваю ее в пятьсот тысяч долларов. А для вас она гроша ломаного не стоит. Она ляжет с вами в постель по первому вашему требованию, но попомните мое слово, вы с ней скоро соскучитесь. Вас я тоже немножко изучил. Как драматург вы, может, и талантливый. Ладно, талант я за вами признаю. Но именно он и помешает вам как человеку. Короче говоря, Лукас, единственное о чем вы печетесь, — это о своей работе. Вот что меня тревожит.

— Тревожит?

— Тревожит. На вас-то самого мне в высшей степени наплевать. Но я добился, чтобы этой шлюхе платили самую большую ставку в театре, и не давал ей сниматься в кино. Она не фотогенична, позволь я ей польститься на голливудские предложения, она получит какую-нибудь второстепенную роль, и тогда ей конец. Один фильм — и все. С другой стороны, я так веду дела, что с каждым спектаклем, в котором эта дамочка участвует, киношники все набавляют и набавляют. Рано или поздно они назовут нужную цифру. Мы возьмем за основу... ну, допустим, пятьдесят тысяч долларов в год ей и мне столько же на ближайшие двадцать лет. А потом определенную долю доходов, когда сборы перевалят за икс миллионов. И так далее и тому подобное. А вы думаете, я тревожусь, что она с вами сошлась? Это же нелепо! Просто нелепо, друг мой!

— У вас, я вижу, все обдуманно.

— Я еще не кончил. Сядь, Зена, тебе тоже не мешает послушать. Я тут рассказываю твоему дружку, почему ты у меня не снимаешься в кино, объясняю финансовую сторону.

— Потому что я не фотогенична, — сказала Зена.

— Да если там за тебя заплатят большие деньги, то и специальную камеру изобретут. И дадут роль, где тебе не нужно будет равняться на Грейс Келли. Но речь шла вот о чем: я сказал этому джентльмену, что мне совершенно все равно, сошлась ты с ним или нет...

— Это я уже слышала, — сказала она. — Прелестно.

— Но вот что меня и в самом деле тревожит. Что, если этот молодчик начнет тебя терзать? Что, если ты ему надоешь раньше, чем он тебе? Он с тобой распрощается, а ты все еще влюблена в него. Это сказывается на твоей игре. Тебя начинает мучить ларингит. Твоей дублерше приходится играть два-три раза в неделю. Ты начинаешь принимать наркотики. А дальше пьесу снимают, потому что ларингит тебя совсем доконал. И так далее и тому подобное... Ты все погубишь. Нам, может, осталось каких-нибудь две недели до подписания контракта, к которому я так долго вел, а ты все погубишь. И только потому, что этот молодчик будет плохо обращаться с тобой. За последние два года я мог бы добиться для Зены Голлом и ста двадцати пяти и ста пятидесяти тысяч долларов — сколько раз мне это предлагали. Но кто с тобой нянчился? Я. И вдруг появляется этот тип. Знаете, Лукас, ведь Зене совсем не нужна именно ваша пьеса. Новая роль в любой пьесе позволит ей требовать более выгодных условий. Последние две пьесы — в них она имела огромный успех — одна написана женщиной, вторая педерастом. В вас, я подозреваю, тоже сидит немного этого самого, но, судя по ее лицу, когда она вернулась домой, что бы вы ни делали, ей все нравится.

— Правильно. Что он ни делает, мне все нравится, — сказала Зена.

— Я пытался объяснить мистеру Пэйну, что не посягну на деньги, которые он зарабатывает с таким трудом.

— Посягнете — не посягнете, все равно. Сейчас вы, черт вас подери, всем мешаете, — сказал Бэрри.

— Мне он не мешает, а ты мешаешь. Так что же мы будем делать? — сказала Зена. — Сейчас, сегодня ночью?

— Минутку, Зена. Мне надо кое-что сказать мистеру Пэйну.

— Зовите меня просто Бэрри.

— Нет, спасибо, — сказал Янк. — Я вот о чем хочу с вами поговорить. Вы так красочно расписали, какие ужасы ждут Зену, когда она мне надоеет. Она будет несчастна, и тогда все ваши труды пойдут прахом. Может, это и верно. Но откуда вы взяли, что Зена будет счастлива с вами? После всего, что она тут от вас наслушалась, и после того, что было у нас с ней сегодня днем, так ли уж она будет счастлива, если вы от нее не отстанете? Что-то я в этом сомневаюсь. И если вы, черт вас возьми, будете мешать нам, наша

пьеса никогда не попадет в Бостон. Так что проваливайте-ка подобру-поздорову.

Бэрри Пэйн увидел счастливую улыбку на лице Зены. Он ткнул пальцем в сторону Янка:

— Лукас, я вас недооценил. Через полчаса меня здесь не будет. Вы наглец, но доводы у вас веские. Весьма веские. — Он посмотрел на свои ручные часы — узенькую золотую цепочку с циферблатом величиной с почтовую марку. — Ее подарок. Чуть ли не очки приходится надевать, чтобы узнать время.

— Десять минут восьмого, — сказал Янк.

— Если я вам понадобится, ищите меня у Коба. Там одна ирландочка души во мне не чаает. — Он показал пальцем на Зену: — По сравнению с ней тебя будто из-под колес вытащили.

Вскоре стало известно, что в супружеской жизни Зены Голлом и Бэрри Пэйна назрела некая ситуация. Выражаясь точнее, назрела новая ситуация, а в театральном мире ни старая, ни новая ситуация не представляли собой ничего экстраординарного. На Бродвее и в Голливуде считалось чуть ли не общепринятым, что у Звезды должен быть муж, который живет на счет жены. Обычно это либо сукин сын, либо шляпа. Зена и ее сукин сын так давно были вместе, что их союз считался прочным и, как все прочные союзы, требовал кое-каких усовершенствований. Союзы, выдерживавшие испытание на прочность, становились просто скучными, и никто, конечно, не думал, что Зена Голлом с ее и Бэрри Пэйн с его прошлым так и останутся друг при друге. Люди, причастные к театру, и люди непричастные, но следившие за театральной хроникой по газетам, полагали, что, как только Зенин сукин сын скопит приличную сумму, в их браке наступит ситуация номер 2. За ситуацией номер 2 неизменно следовала ситуация номер 3, когда супруги, именуемые в дальнейшем «сторонами», общались друг с другом через своих адвокатов, а за ситуацией номер 3 шла ситуация номер 4, когда доверители и лица, их представляющие, сражались в залах суда и на страницах печати, до тех пор пока это уже не переставало интересовать читателей. Собственно говоря, когда супружеская жизнь театральных пар достигала ситуации номер 2 (по тем или иным причинам), напряженный интерес к ней исчезал; дальнейшее протекало по обычному руслу и отличалось в каждом отдельном случае только деталями. Так, например, Звезда могла подать жалобу через своего адвоката, что этот сукин сын обобрал ее до нитки, а его адвокат во встречном обвинении перечислял пять случаев, когда Звезда состояла в противоестественных отношениях с пятью лицами, среди которых были

руководитель рекламного агентства, владелец ресторана, шофер такси, юный сын одного негритянского актера и летчик гражданской авиации. Но вскоре даже подробности судебного процесса теряли свою увлекательность, разве только Звезда и ее адвокат не решали развлечь публику перечнем своих контробвинений. Если, например, Звезда вдруг оповещала мир, что не она, а ее сукин сын состоял в противоестественной связи с сыном негритянского актера, газетчики ловко переводили все это на вполне пристойный язык, не лишая читателей возможности получить удовольствие за свои пять центов. Но в каждом таком случае наступал момент пресыщения похабщиной. Что бы ни говорили и что бы ни делали участники судебного процесса, как бы они ни поливали друг друга, ничто не могло удержать или подстегнуть интерес к ним. Пресса и публика требовали новых действующих лиц, и требования эти всегда удовлетворялись.

Самый ранний слухок, подтвердивший наличие ситуации номер 2 в супружеской жизни Голлом — Пэйн, появился в «Дейли ньюс». Репортер «Дейли» выразился так: «Бэрри Пэйны (Зена Голлом), не совершаете ли вы глупостей?» Всего лишь одна-единственная строчка в отделе театральной хроники, но за ней быстро последовали другие строчки в других газетах. Сотрудница «Джорнал америкен» не называла имен, но сообщала, что в последнем *ménage à trois*^[2] участвует одна Звезда, ее муж и молодой драматург. Сотрудник «Пост» не коснулся супружеских осложнений, но сообщил, что Бэрри Пэйн грозит уничтожить молодого драматурга за его расистские выпады. Одна из голливудских коммерческих газет заняла такую позицию в этом вопросе: очередной сенсационный огрех, назревающий ныне, преподнесет публике не кино, а театр на Бродвее. Сид Марголл тщательно собирал газетные вырезки, обводил заметки красным карандашом и, накопив порядочную коллекцию, выложил всю груду Эллису Уолтону на стол. Эллис должен был сделать из этого вывод, что Сид Марголл не зря получает от него деньги, что он печатает не самую отвратительную писанину и что самая дрянь была бы еще дряннее, если бы он, Сид Марголл, не сумел убедить газетчиков проявлять сдержанность. Сид Марголл с радостью присвоил бы себе честь инициатора любовных дел Зены Голлом и Янка Лукаса, но Эллис Уолтон не дал ему такой возможности.

— Вот, полюбуйте, заметочка Эда Салливена, — сказал Сид Марголл.

— Я еще вчера ее прочитал, — сказал Эллис.

— И вас, я вижу, это несколько не удивляет, — сказал Сид.

— Меня удивляет, как он быстро до всего докопался.

— Вы все знали? — сказал Сид.

— С первого дня, как она окрутила его, — сказал Эллис.

— Эллис, вам следовало бы посвятить меня в эти дела. А то я как-то глупо выгляжу. Эдди позвонил мне, я все отрицал. Начисто отрицал. Чуть ли не поклялся ему. А может, и поклялся.

— Не корите меня, Сид. Если б я сказал вам, это попало бы в печать еще раньше. Вы бы все доложили своей Килгаллен.

— Ну, а дальше что?

— Что дальше? Двадцать четвертого будущего месяца мы открываемся в Бостоне, — сказал Эллис.

— А-а, перестаньте, Эллис! Что будет дальше с Зеной и Лукасом? — сказал Сид. — Надо же мне что-то подкидывать фельетонистам. Если уж вы от меня утаиваете...

— Поговорите с Зеной. Поговорите с Лукасом.

— Они не станут со мной говорить.

— Поговорите с Бэрри.

— И даже он не станет. Такая идет реклама, и получается, будто это дело ваших рук. Я знаю, что вы тут ни при чем, но так получается.

— А вы хотите, чтобы все приписывали вам, — сказал Эллис. — Ну что ж, пожалуйста. Я буду говорить, что это ваших рук дело.

— Вот еще о чем я хочу спросить. Это верно, что у них «мёнаш а трува»? Что же они, в три этажа?

— Что вы какой вздор несете! Зена на все способна. Но Лукас и Бэрри терпеть друг друга не могут. Не всему верьте, что пишут в газетах.

— А почему? Сколько раз я сам поставлял им материал.

— Тем более не надо верить, — сказал Эллис.

— Да, резонно. Теперь, Эллис, следующий вопрос. Зная методы Бэрри, можно заключить, что Зена его кормушка. Поэтому он и ведет себя сейчас так прилично?

— Лишь бы прилично себя вел, а почему, это меня не интересует.

— Но он действительно ведет себя прилично? Хоть это мне скажите.

— Пока что да, — сказал Эллис.

— Так, хорошо. Теперь еще один вопрос, и вы должны ответить на него по-честному.

— По-честному?

— Да, — сказал Сид. — Когда мы приедем в Бостон, вы закажете Бэрри отдельный номер?

— Ах, сукин вы сын! — сказал Эллис.

— Газеты все разносят. Так что признавайтесь мне начистоту.

— На имя Зены заказан двойной номер — гостиная и спальня. У Лукаса одинарный на том же этаже.

— А Бэрри?

— Бэрри в это время будет в Калифорнии.

— Все ясно.

— Что ясно? Может, у него там дела?

— Конечно, но кто этому поверит? — сказал Сид.

— Никто, — сказал Эллис.

— Ну что ж, кое-какие сведения я у вас выудил.

— Да, но, прежде чем передавать их Килгаллен или кому-нибудь еще, вспомните, что Бэрри способен всех нас обвести вокруг пальца.

— Вполне, — сказал Сид. — Где он сейчас живет?

— Честное слово, не знаю.

— Но не там, не в их квартире?

— Нет, кто живет в той квартире, вам хорошо известно.

— Номер в «Алгонкуине» все еще за Лукасом?

— Да.

— Знаете, Эллис, этот молодчик никогда не женится на Зене.

— Может, и не женится, а вы посмотрите, кто на ней женился.

— Н-да, — сказал Сид.

— А сколько их было, которые не женились, — сказал Эллис. — Так что не будем гадать, кто на ком женится. У нас есть пьеса, у нас есть актеры, и у нас есть театр, где мы начнем играть. Заказов на билеты тьма. Из Шибойгена, штат Висконсин, и то пишут. Вот уж не думал, что в этом Шибойгене слышали о Зене, но кто-то, видимо, слышал.

— Надо дать об этом в газету, — сказал Сид Марголл. — Поразительный отклик на наш анонс. Заказы поступают со всех концов страны. Может, я еще велю своему мальчишке написать статейку, а вы ее подпишете. Автор — Эллис Уолтон. Там будет сказано, что наша театральная публика стала очень разборчива, что за сорок восемь часов после первого сообщения в кассу поступило больше двадцати восьми тысяч долларов, хотя Зена Голлом никогда не снималась в кино. Из этой затравки можно такое сделать! Сочиним письма, будто от загородных жителей, как они изголодались по хорошему театру et cetera. Мол, если театр не идет к публике, публика сама идет в театр. Можно будет написать в этой статье, что, узнав о таком широком отклике, вы собираетесь после премьеры в Нью-Йорке послать в поездку по стране еще две трупы.

— Ну и заносит же вас!

— А со мной всегда так. Дайте мне зародыш какой-нибудь идеи, и я из нее все выдою, до последней капли. Иначе не могу. Была у меня идея, чтобы Лукас вел себя Гретой Гарбо, и это против меня же и обернулось. Я учил его не давать интервью, еще когда к нему никто и не думал приставать. Теперь все пристают, а он даже со мной не желает говорить. И Зена тоже. Что же мне делать? Только отвоевывать место на газетной полосе, чтобы мой писака сочинял статейки, а вы ставили под ними свою подпись. И не будем обольщаться, Эллис, к вам у читателей столько интереса, что можете его проглотить и не поперхнетесь. Когда увидите Лукаса, посоветуйте ему носить темные очки.

— Зачем?

— Все то же, Грета Гарбо. В газетах его фотографий нет, а кто его узнает, если он будет без темных очков?

— Он на это не пойдет, — сказал Эллис.

— Пойдет, если вы вразумите его. Только не вздумайте передать ему мои слова! Боже избави! И не говорите, что темные очки надо носить, чтобы привлекать к себе внимание. Пусть, мол, ходит в них, тогда никому не удастся сделать с него хорошую фотографию. В темных очках он сможет бывать везде, где хочет, и привязываться к нему не будут. Как его еще подать, этого сукина сына? Личность, знаете ли, далеко не яркая. Более нудного субъекта я, кажется, в жизни своей не видел. Прямо профессор экономики в каком-нибудь коровьем институте и одевается под статью. Увидишь такого, и не поглядишь второй раз. Разве только он выскочит из дамской уборной. Тогда его можно подвести под арест. Я все ломаю себе голову, как бы это ему держаться подальше от прессы и пресса чтобы сама на него лезла. Есть у меня знакомая дамочка, работает в одной из бостонских газет, раньше писала всякие душещипательные статейки. Напустить бы ее на Лукаса, она бы выудила у него какие-нибудь опрометчивые заявления.

— Не шутите с этим человеком, Сид.

— Почему? Вы что, боитесь его?

— Я боюсь? Нет. Чего там бояться? Правда, он может загубить Зену, а Зена может загубить пьесу. Но не вздумайте шутить с этим человеком ради нескольких паршивых строчек в газете.

— Как шутить, что вы имеете в виду?

— Подбивать его на какие-нибудь необдуманные заявления и так далее и тому подобное. Уж если на то пошло, так я имею в виду вот что: не позволю губить первоклассный талант.

— Вы что, смеетесь? — сказал Сид.

— Я не смеюсь, Сид. Кто знает, может, я войду в историю как первый человек, открывший этот талант.

— Бросьте, Эллис, бросьте. Не верю я вам.

— Да я и не жду, что вы поверите. Тем не менее у меня есть и такая сторона характера. Я не весь целиком коммерсант, Сид. Коммерсант, но не весь целиком.

— Вашу матушку Герман Шумлин никогда не догонял? Пожалуй, скоро приравняете себя к Эдди Даулингу. Шумлин и Лилиан Хелман. Даулинг и Уильям Сароян. Хотите, чтобы получилось Уолтон и Лукас?

— Бывают комбинации и похуже, — сказал Эллис.

— А вы слышали когда-нибудь, чтобы Лилиан Хелман и Уильям Сароян увертывались от рекламы? Да ведь Хелман и сама была пресс-агентом. Эллис, я пойду с вами по любой дорожке — и по коммерческой, и по художественной, и по какой-нибудь там еще. Но начнем с коммерции, а потом, когда в кассе у нас будут деньги, вот тогда — пожалуйста, займемся искусством. Если этот малый окажется действительно первоклассным талантом, дождемся от него еще двух-трех пьес — тогда что ему несколько паршивых строчек в газете. Этим таланта не погубишь.

— Но если вы загубите Лукаса сейчас, тогда не видать нам от него других пьес.

— Значит, его легко загубить? А первоклассный талант такими пустяками не загубишь.

— Откуда вам это известно? — сказал Эллис.

— Не задирайте меня, Эллис. Если вы хотите, чтобы я подал в отставку, мое заявление через полчаса будет лежать у вас на столе.

— Бросьте нести чепуху, Сид.

— Ишь ты, какие слова. Бросьте нести чепуху.

— Если башмак надеть на другую ногу, то есть если б я работал на вас, а не вы на меня, вам моя точка зрения была бы ясна. Так что будьте добры стать на мою точку зрения. В один прекрасный день вы, может, будете сидеть на моем месте, а я на вашем, но пока что будьте любезны, Сидни, предоставьте мне решать, какую вести политику.

Объекты этой политики то принимали, то откладывали принятые решения, и в первую очередь основное — кому где жить. Бэрри Пэйн перебрался в пансион в Ист-Сайде, оставив в квартире два шкафа с одеждой и разное другое имущество. Янк Лукас оставил свой скромный гардероб в гостинице «Алгонкуин», а запас рубашек, нижнего белья и пижам держал у Зены. Фактически Янк и Зена жили теперь вместе, он ночевал у нее; почти всегда они вместе завтракали, обедали и ужинали. На

людях они появлялись редко, а уж если появлялись, то не в тех ресторанах, где подвизаются пресс-агенты. Через неделю Зена сказала Эллису, что номер в «Джадсон-Армз» ей больше не требуется — эта проблема решилась сама собой. Проблема денег оказалась несколько сложнее: Бэрри Пэйн мог заартачиться. Зена получала жалование — 1500 долларов в неделю с момента подписания контракта с Эллисом Уолтоном, но в контракте был пункт, по которому это жалование выплачивалось ее агенту, то есть Бэрри Пэйну. В разговоре по телефону Бэрри согласился внести жалование Зены минус комиссионные на ее личный счет в банке. Но подчеркнул, что она живет в квартире, которая принадлежит ему. Пока что, сказал Бэрри, он не собирается драть с нее семь шкур, но, если она намерена жить там же после нью-йоркской премьеры, пусть тогда кто-нибудь из них или они оба наведут порядок в этом деле, и лучше всего, чтобы Лукас перевел квартиру на свое имя. Поскольку квартирная плата около 10 тысяч долларов в год, Лукасу она явно не по карману, пока он не получит больших денег, но Бэрри не собирается содержать Лукаса после бродвейской премьеры.

— Он мог бы еще и не так нас прижать, — сказала Зена.

— Да, конечно, — сказал Янк. — Он, наверно, посоветовался со своим адвокатом. Я понятия не имею, какие порядки в этих кооперативных домах. В Спринг-Вэлли их нет; единственный вид кооперативного содружества заключался в том, что у нас был уговор не очень шуметь после одиннадцати вечера. Если кто захочет поколотить свою жену или приятельницу, колотите до одиннадцати. Этот уговор соблюдался не всегда, но все-таки.

— А ты мог бы меня поколотить? — сказала Зена.

— Поколотить — вряд ли. Стукнуть, вероятно, смогу, если ты это зарабатываешь.

— Заработаю? Как?

— Не знаю. Во всяком случае, ради удовольствия бить не стану. Даже если ты сама попросишь. Я знал одну такую певицу. Это, пожалуй, первое, что мне запомнилось в Нью-Йорке. Бить ее она не просила. Ей хотелось, чтобы я полоснул ее бритвенным лезвием. Вот тогда мне стало ясно, что я расстался со своим Спринг-Вэлли и вышел в огромный новый мир.

— И ты полоснул ее?

— Да. Разок.

— Где?

— У нее в комнате.

— Нет, по какому месту?

— По животу. На меня это никак не повлияло, а на нее — да. По правде говоря, я испугался. Порез был неглубокий. Когда бреюсь, и то бывает глубже. Испугался я потому, что ничего не почувствовал. Я бы должен ужаснуться, а ужаса не было. Но ведь если я способен на такое, то меня и на худшее хватит. Я перестал с ней встречаться. Хотя нет — встречаюсь. В холле «Алгонкуина».

— А ты зазови ее как-нибудь к себе и предложи вырезать ей аппендикс, — сказала Зена. — Она, бедненькая, истосковалась по ласке.

— Смейся, смейся. Мне-то совсем не было смешно. Я тогда о себе думал.

— Если ты хочешь избавиться от этого, поди возьми бритву и полосни меня, — сказала Зена.

— Еще чего! Не вздумай сказать, что тебе тоже такое нужно.

— Нет, я бы, наверно, упала в обморок, но я все сделаю, все, что ты захочешь. Так я тебя люблю.

— По-моему, к любви это не имеет никакого отношения.

— По-моему, тоже, но ты никогда не был влюблен. Тебе казалось, что ты любишь свою жену, но она-то чувствовала, что любви нет.

— Ты думаешь, чувствовала?

— Да. Я помню, какие глаза были у мальчишек, когда они в первый раз видели меня раздетую. И у тебя было такое же лицо, когда ты в первый раз увидел ее раздетую. «О Господи! Вот как оно бывает!» А это тоже не имеет никакого отношения к любви.

— Хорошо. А что же такое любовь?

— Ты хочешь, чтобы я дала тебе определение любви?

— Очень хочу.

— Хорошо. Любовь — это то, что я чувствую к тебе, чего я никогда ни к кому не чувствовала и чего ни одна женщина не чувствовала к мужчине. И чего ни один мужчина не чувствовал к женщине.

— По-твоему, это определение?

— Да. Мое определение. А твое будет лучше? — сказала она.

— Я и пробовать не стану. Это не определение любви. Это описание того, что ты чувствуешь. Оно не охватывает всего предмета, как требуется от точного определения.

— Нет, охватывает. Лучшего определения я в жизни своей не слыхала. А хочешь узнать, что такое жизнь? Жизнь — это ваза с вишнями и больше ничего, — сказала она.

— Вот как?

— Да, да. Жизнь — это ваза с вишнями.

— Ну что ж, тут я, пожалуй, соглашусь с тобой. Крупнейший философ Руди Валле утверждал, что жизнь — это аквариум с золотыми рыбками и больше ничего. Я принимаю любое определение. Но когда рассуждаешь о жизни, перед тобой нечто осязаемое. Конкретное. Любовь не то. Жизнь была, есть и будет. Любовь — прихоть, фантазия. Мы пытаемся определить неопределимое, которое определить нельзя, ибо оно не существует. Одному человеку кажется, что вот уже пятьдесят лет он любит одну и ту же женщину, а у другого — эрекция, потому что он увидел два дюйма женского бедра в метро. В обоих случаях это прихоть, фантазия. Cotigo ergo sum. Вздор. Мысль не имеет никакого отношения к бытию. Бытие есть бытие, и оно не требует подтверждения мыслью. Жизнь действительно ваза с вишнями. Или наоборот: ваза с вишнями — это жизнь. Но с другой стороны, ваза с мыслями — это отнюдь не жизнь. Покажи мне такую вазу.

— Твоя пьеса, — сказала она. — Твоя пьеса — это ваза с мыслями.

— Если я возьму свою рукопись и положу ее в вазу, можешь назвать это вазой с мыслями. Но нет. Это будет ваза с бумагой, на которой какие-то значки, только и всего. Cotigo ergo sum...

— Ты уже второй раз так говоришь. Что это значит?

— Это значит: «Я мыслю, следовательно, я существую...» Один философ по имени Декарт... Ладно, вникать не будем. Мы только начали проходить это в колледже, когда мне пришлось уйти. Словом, Декарт рассуждает так: если ты можешь мыслить, ты существуешь. Я с этим не согласен. Я рассуждаю так: cotigo ergo cotigo. Я мыслю, следовательно, я мыслю. Дальше этого я не иду.

— Значит, по-твоему, если ты чего не видишь, это не существует?

— Да, не существует.

— Значит, ни любви, ни мысли как таковой тоже нет?

— Ничего такого нет.

— Как ты можешь говорить такие глупости? А электричество? Поди включи свет. Открытие электричества — ведь мысль тут работала? А наш дом? А Крайслер-билдинг? Выгляни в окно — видишь, сколько там домов, за парком? Посмотри вниз, видишь, сколько машин?

— Они все существуют.

— Еще бы нет! Если какая-нибудь тебя задавит, что же, она не существует? Но прежде чем создать одну такую машину, надо было ее придумать. А ты говоришь, что мысль не существует. Какая глупость! И ты сам глупый.

— Я мог бы доказать тебе, что мышление, мысль, как ты говоришь, входит составной частью в каждую из этих машин. Как форма энергии,

которая создала машину и затем исчезла, как только машина поступила в производство.

— Ах, энергия? А энергию ты видишь?

— Конечно, нет. Она исчезла как дым. Сгорела и исчезла. Энергия. Мысль. Любовь. Если они и существуют, то лишь как часть материального.

— Вздор, и ты сам прекрасно знаешь, что это вздор. Завтра вечером будешь доказывать, что видимое не существует. Что существует только то, что невидимо. Ты просто любишь спорить. Вы хотим, мистер Янк Лукас. Щеголяете передо мной своей латынью, а я позволю себе щегольнуть своим идиш.

— Что сие значит? Хо-хем? — сказал он.

— Это значит: ах, какой умник! — сказала она. — Ну что ж, это мне больше нравится, чем прежде. Это разговор. А прежде, с Бэрри, я только и слышала, какую кучу денег он для меня заработает. Не сколько я для него заработаю, а сколько он для меня. А до Бэрри было так: «Эй, детка, ну как, поваляемся?» Тебе неприятно, когда я говорю о своем прошлом?

— Слишком часто оно у тебя на языке, — сказал он.

— А знаешь почему?

— Да нет, не знаю, — сказал он.

— Потому что ты стараешься переделать меня, ты уже начинаешь придумывать, будто я совсем не такая. Но я была именно такая, и чаще всего мне это нравилось, иначе я бы так не делала. И я не говорю, что кого-то из них любила так, как люблю тебя. Но не вздумай внушать мне, будто я в чем-то виновата. Ты, может, сам делал что-нибудь грязное, мерзкое до нашей с тобой встречи, но разве тогда, в первый раз, в гостинице, я тебя спрашивала об этом?

— Я запретил себе спрашивать, что ты делала раньше, — сказал он.

— Уж такой строгий запрет, что даже как-то противоестественно. Каждому хочется знать, что другой делал. Это естественно. Надо, конечно, держать свое любопытство в узде. Но тебе стоит только захотеть, и я расскажу — все расскажу, с кем и как. — Она улыбнулась.

— Мне не хочется лишать тебя удовольствия, но я, право, не собираюсь внимать твоим воспоминаниям. Во всяком случае, не заставляй меня сидеть тут и слушать, как ты заново все переживаешь.

— Ладно, только не пытайся изменить то, что было. А если и сама изменюсь, то пусть это будет потому, что мне так захотелось. Ты большой писатель, Янк, но я тоже неплоха. Очень даже неплоха. Публика сбегается в театр не только полюбоваться на мой зад. Без него я, правда, ничего бы не достигла, но у меня есть и многое другое, что требуется для успеха. Мысль

есть, и энергия, и любовь.

— Мы что, ссоримся? — сказал он.

— Ну, пусть ссоримся. Мирная ссора. Просто мы ставим точку на том, к чему не надо возвращаться. Так знаешь, что такое любовь? Любовь — это то, что я предпочитаю тебя всем другим.

— Вот теперь ты говоришь дело. А я предпочитаю всем другим тебя.

— Ну что ж, мы кое-чего достигли, — сказала она.

Они были в Бостоне. Несмотря на суматоху, сопутствующую дню премьеры даже в такой маленькой труппе, над всем властвовал фаталистический оптимизм. В три часа пополудни Марк Дюбойз отправил актеров по гостиницам на отдых. О том, что кому-нибудь удастся отдохнуть, никто и не помышлял.

— С таким же успехом вы могли бы оставить их и в театре, — сказал Эллис Уолтон.

— Вы так думаете, Эллис? — сказал Марк.

— Они все же люди. Разойдутся по своим номерам и начнут нервничать.

— Потому-то я и прогнал их домой, — сказал Марк. — Пусть нервничают. Пусть взвинтятся к семи часам. Избави меня Боже от актера, который не взвинчен в день премьеры. Вот со Скоттом Обри я, наверно, иду на риск. Он может хватить лишнего и, чего доброго, явится навеселе. К восьми вечера его стошнит в артистической уборной, но к поднятию занавеса он будет в форме и сыграет отлично. Да, я рискую, но своего дублера он сегодня на сцену не пустит. Что касается других, то они меня не беспокоят. Я бы вам в ножки поклонился, если бы вы удержали нашего автора подальше от Зены, но это вряд ли возможно.

— Подальше от Зены? Именно сейчас он ей и нужен, — сказал Эллис.

— Может, и нужен, но я дорого бы дал, чтобы они не ложились в постель до поднятия занавеса. Будь на то моя воля, я бы надел на нее пояс целомудрия, пока не выйдет на сцену. А от мистера Пэйна есть что-нибудь?

— Она получила от него воз цветов, — сказал Эллис.

— Если даже этот подонок вдруг объявится, тоже ничего страшного. Единственное, что меня настораживает сегодня, — это актерская самоуверенность. Если они сыграют, как деревяшки, хороших рецензий им не видать. Излишняя вера в себя может их подвести. Пьесу-то они не подведут. Но я не хочу, чтобы мои актеры получили плохую прессу. Не хватает мне добывать новых исполнителей.

— Для того мы и приехали в Бостон, чтобы избавиться от ошибок.

— А-а, бросьте! — сказал Марк. — Хорошие отзывы я приму где угодно, и другие тоже примут. Вы думаете, Керр и Аткинсон не читают Нортон? Если Нортон раздраконит бостонский спектакль, эти нью-йоркские субчики поймут, что им делать. А хорошая, уважительная рецензия Нортон даст хорошую, уважительную рецензию Аткинсона. Керр напишет многословное эссе, но оно тоже будет в уважительном тоне.

— Нужно, чтобы Аткинсон и Чэпмен дали хорошие отзывы, — сказал Эллис.

— Чэпмен? Кому нужен Чэпмен? У него все будет сказано в шапке — дальше можно не читать. Мне хочется, чтобы хорошие рецензии дали Аткинсон, Керр и Гиббс. Но от любых других тоже не откажусь... Видали вы когда-нибудь такого спокойного автора? Не понимаю, как эта вяленая рыба могла сочинить такую забористую пьесу. Если б не знать, так можно подумать, что кто-то другой за него написал. Например, негритенок Ирвинга Берлина.

— Снаружи у него огня не видно, наверно, все внутри, — сказал Эллис.

— Да. Только не передавайте ему мои слова про вяленую рыбу. Я хочу ставить его следующую пьесу, какая бы она ни получилась — хорошая, плохая, средненькая.

— Ага! Значит, кое у кого тоже есть свои планы? А толковали про Хелман и Шумлина. Теперь самому захотелось быть вроде Гэйджа с Теннесси?

— А что тут плохого? Он говорил с вами о новой пьесе?

Эллис медлил с ответом.

— А-а, говорил, сукин вы сын! — взвизгнул Марк. — Ну, выкладывайте!

— Сказал, что первым прочту его новую пьесу я.

— Значит, другим продюсерам и соваться нечего. Вы только поскорее ее зацапайте.

— Я так и хотел, но тут эта Пегги Макинерни...

— Да, Макинерни обойти трудно, — сказал Марк. — Я ей говорил — вежливо, но говорил, что присутствие посторонних на репетициях нежелательно. Только члены труппы и подсобные. Она посмотрела по сторонам и увидела моего секретаря, и вашу секретаршу, и писаку Сида Марголла, и костюмера Скотта Обри, и Дока Бендера, и черт его знает кого еще. Потом показала на одного молодого человека и спрашивает: «А вот это кто?» Пришлось мне сказать, что это ваш племянник из Дартмута. Тогда она показывает еще на кого-то, и тот же вопрос, и пришлось мне

ответить: не знаю.

— Другой мой племянник, из Гарварда, — сказал Эллис.

— Да нет. Это была женщина. Лет сорока пяти, толстая, с лица — еврейка.

— А-а, это моя сестра из Броктона, штат Массачусетс. Я разрешил ей присутствовать на репетиции, только чтобы не мешала. Жаль, что она пришла именно в тот день. А я где был все это время?

— Откуда мне знать, где были вы? Хватит с меня забот — следить за своими людьми.

— Ну, и как же дальше с Макинерни?

— Удалилась она спокойно, а потом пришла и привела Лукаса. Я ничего ей не сказал. А что скажешь? Она тоже молчала. Да ей и не требовалось говорить. Вид у нее был такой — а ну, попробуй выгони.

— И следовало выгнать. Проявить характер, — сказал Эллис.

— Нет у меня никакого характера, — сказал Марк.

— Кто так о себе говорит, значит, это человек с характером, — сказал Эллис. — Характер у вас есть, Марк.

— Не надо комплиментов, Эллис. Я сейчас в таком состоянии, что могу расплакаться. Но на другой день после премьеры в Нью-Йорке держитесь — пушусь во все тяжкие. Вы и знать не знаете, как хорошо я себя все это время вел...

— Знаю, знаю. И ценю...

— Да я не о деле, а о самом себе — уж таким я был паинькой. И под арест не угодил, и вам не пришлось брать меня на поруки. Три года назад я попался в лапы бостонским фараонам, так что теперь мне приходится быть начеку. Чуть что, и за решетку. Как бы я тогда продолжал репетиции? Вы здешних фараонов не знаете, а я хорошо с ними знаком. Особенно если ты не бостонец, тогда берегись. Ну и задам я жару после Нью-Йорка! Сразу закачусь в Ки-Уэст.

— В Ки-Уэст? Флорида?

— Такого веселого местечка больше нигде нет. А какие там балы у нас! С ума сойдешь с этой матросней, с кубинцами. Вы представить себе не можете, что там делается. Все мои знакомые девочки просто рвутся в Ки-Уэст.

— Ну что ж, отдых вы заслужили, — сказал Эллис. — А я не знал, что вас арестовывали в Бостоне.

— Запретить мне приезжать сюда они не могут, но если я остановлюсь в парке хотя бы только завязать шнурок на ботинке — все, тут же схватят. Даже если остановлюсь завязать шнурок. Правда, я ношу без шнуровки, и

им не так просто меня сцапать. Посмотрите. Настоящая крокодиловая кожа. Семьдесят долларов, на заказ.

— Дайте адрес вашего мастера. Я закажу вам несколько пар в подарок.

— Лучше деньгами — можно? Я же говорю, что собираюсь загулять в Ки-Уэсте.

— До нью-йоркской премьеры обходите тот парк стороной, и я вас отблагодарю.

— Не будем утверждать, Эллис, что во мне говорило чистое бескорыстие, но я чувствовал, что должен поставить эту пьесу.

— У всех, кто с ней связан, было такое чувство, — сказал Эллис. — У вас. У меня. У Зены. Мой племянник, тот, что учится в Дартмуте, выразился исчерпывающе. Как же он говорил? Дай Бог памяти. Нет, точных его слов я не запомнил, но он сказал, что у этой пьесы есть какой-то ореол. А он интеллектуальный юноша, интеллектуальнее многих и многих.

— Да, мальчик впечатляющий. Но он прав. У этой пьесы есть ореол. Что-то в ней странное. Начиная со странного автора, и если подумать как следует, так Зена тоже со странностями. И все так хорошо получалось, даже это странно. Что-то уж слишком хорошо. Вечно приходится воевать с осветителями, а в этот раз порядок полный. И мешки с песком не падали, и декорации поставили вовремя. Я даже был бы не прочь, если бы сегодня что-нибудь стряслось. Ну скажем, один из рабочих сломал ногу или руку. Как выражались в старину, я преисполнен удивления, так гладко никогда еще не сходило.

— Перестаньте, Марк! До одиннадцати часов мало ли что может случиться, — сказал Эллис.

Но ничего плохого не случилось — их не постигла ни одна из тысячи бед, какие случаются на премьерах. Зажигалка Скотта Обри работала исправно. Джо Гроссман говорил не слишком громко. Шерли Дик справилась с расстройством желудка. Рик Бертайн не забыл, что надо сосчитать до пяти, прежде чем ответить на телефонный звонок. Вставная челюсть у Ады Энн Аллен не выпадала. Джаспер Хилл ничего не позволял себе с Зеной. Бэрри Пэйн был в Калифорнии. Жена Эллиса Уолтона сидела в Нью-Йорке. Задники не падали, свет давали вовремя. В публике не кашляли. Никто не загоготал, когда шла сцена в спальне. Критики досидели до конца, и актеры восемь раз выходили на вызовы.

А потом, в спокойной обстановке, все собрались за кулисами. «Ну, кажется, прошли», — говорили друг другу актеры. Они стояли среди декораций третьего акта, и Эллис Уолтон держал перед ними коротенькую речь, начав ее словами: «Ну, кажется, прошли». За ним выступил автор со

своей коротенькой речью.

— Наконец-то я понял, что значит любить театр, — сказал он. — И благодарить за это мне надо всех вас, и Марка, и Эллиса. Примите мою благодарность.

Они похлопали ему, и он, не зная, что таков обычай у русских, ответил им тем же.

— Да, вот что еще забыл, — сказал Эллис. — У меня в номере будут поданы сандвичи и выпивка. Комната восемьсот двенадцать. Я не устраиваю приема. Просто соберемся все мы и кого вам захочется пригласить. Посидим тихо-мирно, дождемся выхода газет. Настоящий банкет обещаю дать в Нью-Йорке, а сегодня побудем в своем тесном кругу.

— Теперь моя очередь, — сказал Марк Дюбойз. — Я всех вас люблю и всех прошу быть здесь завтра в два часа дня. Роль свою никто не забыл, накладок ни у кого не было. Но кое-что по моей части мне все-таки хочется подправить. И если кто-нибудь из вас вознамерился заболеть, пожалуйста, болейте здесь, в Бостоне, и чтобы к Нью-Йорку выздороветь. Как бы там ни было, сегодняшней вечер ни одна собака у нас не отнимет. По-моему, даже автору не понять, как мы все гордимся спектаклем. Пьеса всегда будет пьесой, но сегодня она была наша. Завтра он опять ею завладеет. Сегодня же, на первом представлении, эта пьеса принадлежала нам. Мы вдохнули в нее жизнь, и если вы думаете, что я не был с вами, с каждым из вас на сцене, не следил за каждым вашим словом, за каждым шагом... Тогда почему же меня вымотало больше вас всех? Да, испытываешь такое, и весь мусор из головы долой. Джо Гроссман. Ада Энн. Они больше сорока лет на сцене. Пусть расскажут вам, что они чувствовали на сегодняшнем спектакле. Да нет, зачем рассказывать? Вы сами все знаете. Эллис, вы хотите что-нибудь добавить?

— Нет, Марк, вы все выразили.

— Ну ладно, идите снимайте грим, — сказал Марк актерам, и они разошлись по своим уборным.

Зена, чья уборная была рядом со сценой, осталась подождать Янка, занятого разговором с поздравлявшими его Эллисом и Марком. Но вот Янк вошел к ней. Он обнял ее.

— Не целуй меня, я еще не сняла грима, — сказала Зена, но прижалась к нему. — Ну, как я? Я сама знаю, я хорошо играла, но хочу от тебя услышать.

— Хорошо. Ты играла хорошо, — сказал он.

— На самом деле хорошо, — сказала она. — Знаю. Сама это чувствую. Но хочу, чтобы ты меня похвалил.

— Ты на самом деле была хороша.

— А ты слышал, как вызывали автора? — сказала она.

— Конечно, — сказал он. — Я же выходил на сцену, кланялся.

— Да, но я хотела знать, что ты сам слышал, что тебя не вытолкали из-за кулис Марк или кто-нибудь другой. Тебе надо было самому услышать, это очень важно.

— Ты так думаешь? А почему?

— Иногда ты бываешь такой странной, что у меня просто мурашки по спине. — Она села перед зеркалом и потянула бумажную салфетку из коробки. — Нам в театре платят не только деньгами, — сказала она. — Уж кому это знать, как не тебе.

— Я знаю. Прекрасно знаю.

— Поэтому и нужно, чтобы автор слышал, как его вызывают.

— Может быть. Но я, пожалуй, согласен с Марком. Сегодня спектакль актерский.

— Вот оно что! Раскланиваться ты будешь в Нью-Йорке?

— Нет, этого я не говорил, — сказал он. — И не надо мне было слышать «автора, автора» и выходить на поклоны. Знаешь, я таких вещей не одобряю. Напрасно я вышел. Мне было приятно, но я против таких вещей. Зачем автору выходить на сцену? Не место ему там. Если он вышел на премьеру, тогда пусть после каждого спектакля выходит или совсем не показывается.

— Ах, успокойся. Такие мелочи делают театр тем, что он есть.

— Мне было приятно, но зря я так сделал. Я не хочу, чтобы театр завладел мною именно с этой стороны. Я хочу писать пьесы, но читать «Вэрайети» не собираюсь и обедать «У Сарди» тоже не буду. И не хочу, чтобы меня узнавали в вестибюле «Алгонкуина».

— А я, черт возьми, хочу, — сказала Зена, втирая крем в кожу. — Пусть говорят: «Посмотрите вон на ту маленькую шлюху». Но что бы ни говорили, а посмотреть все-таки посмотрят.

— Хочешь поквитаться со всей этой шатией? — сказал Янк.

— А как же! — сказала она. — Со всеми. С каждым стервецом, который мне хамил, или смотрел на меня сверху вниз, или отказывал в роли, когда я нуждалась, или зажимал пятьдесят долларов, если с ним не переспишь.

— Очень интересно. Тогда ты не настоящая звезда, — сказал он.

— Ах, не настоящая? А ты пойдешь взгляни на рекламу.

— На рекламе ты звезда, но тебе все еще хочется сквитаться с обидчиками. Для настоящих звезд это пройденный этап.

— Пошел ты...

— Послушай, а нам обязательно сидеть у Эллиса и ждать выхода газет?

— Никто нас ни к чему не принуждает. Я — звезда, ты — автор. Мы можем делать все, что угодно, и вместе и порознь. Не хочешь идти к Эллису — не надо. Но ведь это для своих, если я не пойду, актеры подумают, что мне на них наплевать. Если же я пойду, а ты не пойдешь, они подумают, что тебе на меня наплевать. Зайдем туда на минутку.

Все члены труппы привели с собой гостей к Эллису — и актеры, и осветитель, и декоратор, и остальные, — все, кто был связан с постановкой. В результате народу собралось больше, чем рассчитывал Янк — человек тридцать, — и все сидели с газетами в руках. Эллис подал один номер Зене, другой — Янку.

— Молчу, ни слова. Читайте и наслаждайтесь, — сказал он.

В гостиной чувствовалась крайняя сосредоточенность; некоторые перечитывали рецензии по второму разу. Действующих лиц в пьесе было немного, так что критики могли упомянуть о каждом актере, и отзывы колебались в масштабах положительной, сравнительной и превосходной степени оценок в зависимости от значения той или иной роли. Шерли Дик была «хороша», а Зена Голлом «великолепна». Режиссер Марк Дюбойз дал «тонкую трактовку пьесы», а драматургия Янка Лукаса «свидетельствовала о появлении в американском театре нового большого таланта». Щелчки выдавались чуть ли не с извинениями. Первый акт следовало бы немножко сократить; реплики ветерана сцены Джозефа У. Гроссмана не всегда доходят до зала; ритм постановки мистера Дюбойза неровен. Но это все мелкие погрешности, и их можно простить спектаклю, сила воздействия которого равняется ранним вещам Клиффорда Одетса и постановкам театра «Группа». Мистер Лукас явно находится под влиянием Одетса и Максвелла Андерсона, но подражания им в его пьесе незаметно. Мистер Лукас — талант оригинальный, обладающий остротой чувства и инстинктивным пониманием законов сцены. По требованию восхищенной публики занавес поднимали восемь раз.

— Ну что? — сказал Эллис Уолтон.

Янк улыбнулся.

— Если вы довольны, то я и подавно, — сказал он.

— Доволен? Можете теперь требовать все, что вашей душе угодно. Я уже не какой-то там второсортный продюсер. Мои милые друзья не посмеют больше называть меня Гилбертом Миллером для бедных. — Он постучал по газете кончиками пальцев. — Помещаю еще одно объявление в

воскресном «Таймсе» — на всю полосу. В «Трибюн» — на полполосы. Перед вашим приходом я говорил по телефону с Лу Вейссингером и велел ему нанимать штат для обработки заказов по почте.

— Кто такой Лу Вейссингер? — сказал Янк.

— Он больше по коммерческой части. Вы его не видели.

— Тот самый, который продает спектакли комиссионерам?

— А-а, вы про них знаете? Я не подозревал, что вас это интересует.

— Меня — нет, а Пег Макинерни весьма интересует, — сказал Янк.

— А-а... хм... Ну, тогда вам волноваться нечего, Пег о вас позаботится. Я питаю к Пегги глубокое уважение. Глубочайшее уважение. Завтра надо будет поговорить с ней. А почему вы не привели ее сюда?

— Она сказала, что если бы вы захотели ее пригласить, то вам известно, где она остановилась.

— Как это нехорошо! Неужели она обиделась, что ее не пригласили? Надо ей позвонить. Остановилась она в «Копли». Пойду позвоню.

— Сейчас ее там нет, Эллис.

— Тогда вы объясните ей, пожалуйста, что это не намеренно. Мне и в голову бы не пришло обижать Пегги. Я столько лет ее знаю. И как раз собираюсь предложить ей кое-что по поводу двух ваших следующих пьес.

— Это она знает. Только, по ее расчетам, речь пойдет об одной пьесе.

— Когда вы с ней говорили?

— Полчаса назад. Мы с Зеной подвезли ее.

— Ах ты черт, всегда что-нибудь помешает! Почему вы не настояли, чтобы она приехала?

— Эллис, вы совершаете оплошности, а я должен спешить вам на выручку?

— Да нет, конечно, но я надеюсь, Пегги не отговорит вас заключить договор со мной.

— Как она мне скажет, так я и поступлю. Может, она уговорит меня заключить договор именно с вами.

— Вам что, приятно видеть мои страдания? Янк, разве я непорядочно себя вел по отношению к вам?

— Насколько мне известно, вели вы себя порядочно. Но я не разбираюсь в этих спекуляциях, а Пегги все знает.

— Хорошо, я обращусь к ней с одним предложением, от которого она вряд ли откажется. Больше мне ничего не остается. И этот Бэрри Пэйн не будет в нем участвовать. Но Пегги знает, что мне пришлось иметь дело с Бэрри, иначе как бы я получил Зену? Пегги прекрасно это знает.

— Безусловно, знает, — сказал Янк.

— Она что-нибудь говорила вам?

— Она много чего говорила, но уж это вы с ней сами обсудите.

— Янк, вы устроили мне пытку. Хорошо ли это? — Он хотел поставить стакан на стол, промахнулся, и стакан полетел на пол. — У меня повышенное давление и больное сердце. Оба моих брата умерли от сердечного припадка, и мне надо беречься.

— Вот и берегитесь, Эллис.

— Какое там берегитесь, когда вы меня терзаете? Получайте, вот вам чек на пять тысяч долларов — без всяких ограничений. Только дайте мне честное слово джентльмена, что вы ни с кем другим не подпишете контракта, пока я не предложу вам свои условия. По чеку вам уплатят внизу, сегодня же вечером, и если вы слова своего не сдержите, плакали мои пять тысконок. Чек от меня лично. «Элбэр корпорейшн» тут ни при чем.

— Это еще что за «Элбэр корпорейшн»?

— «Эл» — от Эллис, «бэр» — от Бэрри. Мы создали корпорацию для постановки вашей пьесы. Обычная вещь, так уж заведено. Но этот чек — наше с вами дело. Чек от меня лично — я выписал его вам как одно частное лицо другому. Как джентльмен джентльмену.

— Нет, спасибо, — сказал Янк. — Кстати, Эллис. Я заплатил Пег пятьдесят долларов комиссионных из тех пятисот, что вы мне дали.

— Так я и знал. Эх, если б можно было с такой же легкостью предугадывать другие ваши поступки. Да-а, толкуют о загадочности китайцев. Вот вы — это загадка. Смотрите, Зена старается поймать ваш взгляд.

— Да, знаю.

— Но вам приятнее меня терзать.

— Какие там терзания, Эллис. Я просто изучаю вас, — сказал Янк. — Вот слушайте, может, вам станет полегче.

— Скорее говорите, не то я не выдержу.

— Ну что ж, я знаю, сколько вы из меня выжали, но Пег говорит, что это все же меньше, чем выжали бы другие продюсеры.

— И от этого мне должно полегчать? — сказал Эллис.

— На большее я сегодня не способен, — сказал Янк. — Спасибо за угощение. Всего хорошего.

Он прошел с Зеной к ней в номер.

— Я устала. А ты? — сказала она.

— Да. Очень, — сказал он. — Где мне сегодня спать, у себя?

— Нет, одна я не вынесу. Сегодня, во всяком случае. Без снотворного я

не засну, а глотать эту дрянь не хочется, потому что мне надо обо всем подумать. Буду думать, думать, и под конец это меня усыпит. Я устала и поглупела. Со мной так бывает.

— Да, это я заметил, — сказал он.

— Суть дела в том, что Бостон не Нью-Йорк, — сказала она. — Но здесь так же трудно, как в Нью-Йорке. В некоторых отношениях даже труднее. Через Бостон надо пройти, и, как бы тут ни обернулось, впереди у тебя Нью-Йорк, через который тоже надо пройти. Ты здесь впервые, так что...

— Нет, не впервые, — сказал он.

— Ты мне не говорил, что уже приезжал сюда, — сказала она.

— В бытность свою ученым-атомщиком, — сказал он.

— Ты? Ученый-атомщик? Вот уж не верю. Кое-что из твоих рассказов я вообще принимаю скептически, а уж этому никогда не поверю.

Он рассказал ей о своем первом посещении Бостона. Рассказ позабавил ее, но не рассмешил.

— Не нравится? — сказал он.

— Пожалуй, нет. Если женщина чего-нибудь не понимает, это ей и не нравится. Любил бы ты разыгрывать — другое дело, но ведь этого нет. Насколько я знаю тебя, это не в твоём духе... А что я о тебе знаю? Я даже не уверена, что люблю тебя. Вот было бы ужасно.

— Конечно, ты меня не любишь, Зена, — сказал он.

— Если не люблю, значит, я никого не любила и, может, даже не способна полюбить. Сколько раз я твердила себе: «Берегись, девочка. Всякий раз как ты спишь с новым, запасы твои убывают». Запасы любви, конечно. И теперь тебе, наверно, мало того, что у меня осталось. Ты, может, этого и не знаешь, но тебе много надо. Даже больше, чем мне. Но весь ужас в том, что пока я швырялась своими чувствами, ты-то свои при себе держал. Явится какая-нибудь стерва и получит все сполна — все, что ты утаил от меня и чего ни жена твоя, ни все прочие не получали. Я думала, сегодня у нас с тобой будет так хорошо, но все во мне пусто и глухо... сама не знаю, что со мной.

— Тебе будет легче, если я уйду, — сказал он.

— Нет, нет! Если ты уйдешь, я могу из окна выпрыгнуть.

— Но ведь именно я на тебя так действую, — сказал он.

— Да, но ты единственный, с кем... Мне нетрудно найти кого-нибудь, кто переспит со мной. Например, Марк, и никаких эмоций с ним не будет. Или Скотт Обри — с этим эмоций хоть отбавляй. Но люблю я тебя или не люблю, ты единственный, с кем я хочу быть. Во всяком случае, сегодня.

Пожалуйста, не бросай меня. Не то я правда выпрыгну из окна.

Он молчал.

— О чем ты думаешь? — сказала она.

— Я думаю о том, что впервые в жизни во мне кто-то нуждается.

— И тебе это не по душе, — сказала она.

— Не привык, — сказал он.

— А зачем привыкать? — сказала она. — Завтра все будет в порядке.

Мне только сегодня ночью страшно одной.

— А-а, я начинаю понимать. И как мне раньше не пришло в голову! Ты привыкла, чтобы рядом всегда был Бэрри Пэйн. Интересно, он это знает?

— Может, и знает, но вряд ли. Нет, ничего он не знает. Раз уж кто покончил с Бэрри, то и Бэрри с ним покончил. С того дня у нас в квартире мы с ним держимся по-деловому.

— По твоим рассказам у меня создалось впечатление, что так всегда и было.

— Э-э, нет! Это не человек, а животное. Он и меня такой сделал. Я чувствовала себя животным. И хотела быть животным. И была. Этим он меня держал. Я жила... как говорится, с кем попало. Но пока он был со мной — не-ет! Я была при нем работягой, рабочей скотинкой, так он меня и звал — рабочая скотинка.

— А что, если бы мистер Пэйн вошел сюда сейчас, сию минуту? — сказал он.

— Сейчас? Сию минуту? Ничего бы не было. Потому что я говорила о нем и вспоминала, как мне было тошно, когда он называл меня своей рабочей скотинкой. Но минут десять назад, до того как я о нем заговорила, у меня была такая муть на душе, что я, наверно, опять стала бы его скотинкой. Больше я ничем при нем не была. Его скотинкой и его кормушкой. Но это все до встречи с тобой, до того как я прочитала твою пьесу, до того как мы все прочитали твою пьесу.

— По-моему, тебе уже лучше, — сказал он.

— Да, — сказала она. — И вот в чем ты выше Бэрри Пэйна. Он никогда бы этого не заметил, а ты заметил. Ты всегда заметишь. А знаешь, это, наверно, ужасно быть таким тонким, как ты, и никого не любить.

— А тебе никогда не приходило в голову, что душевная тонкость, возможно, и не имеет никакого отношения к любви? То, что ты именуешь тонкостью и что я именую тонкостью, когда меня никто не слышит, вероятно, так далеко от любви, что их даже полюсами нельзя назвать. Мою неспособность любить следует, должно быть, приписать этой тонкости.

— Ужасно, — сказала она.

— Ужасно? Не знаю. Будь у меня возможность променять свою тонкость на способность влюбляться, я вряд ли согласился бы. Не приходилось мне видеть долговечную любовь. Мешает секс. Кто ненавидит друг друга сильнее, чем мужчина и женщина, которые были когда-то любовниками, а потом один из них вдруг вспылал к кому-то еще? Но душевная тонкость... нельзя ли дать ей какое-нибудь другое название? Может быть, острота восприятия? Нет, это тоже плохо. Но тонкости хватает надолго, во всяком случае, пока мозг человека работает. Острота восприятия сохраняется даже у стариков, если они обладали ею раньше. А многие ли сохраняют любовь? Когда я работал в газете, меня поражали старые люди. Не такой уж я был мудрец, но мне казалось, что самые сварливые, самые вздорные старики — это те, кто утратил способность любить. А те, что живут и радуются, несмотря на свои немощи, болезни, те просто не принимают жизни всерьез. Как говорят в театре, «уходят, весело смеясь».

— А-а, ты хочешь стать старичком-весельчаком? — сказала она.

— Этого я не говорил, но может, и хочу. Уж лучше быть старичком-весельчаком, чем сварливым старикашкой.

— А веселым молодчиком не хочешь быть?

— Упаси Боже! — сказал он. — Жизнь — веселая штука, но в молодости смех из нее извлекаешь нечасто. Вот взять хотя бы тебя, Зена. Ты молода, ты пользуешься успехом, ты всегда верила в любовь, а несколько минут назад хотела выпрыгнуть из окна.

— Может, еще и выпрыгну, если ты не замолчишь, — сказала она.

— Нет, теперь уже не выпрыгнешь, хотя тогда я тебе поверил. Сейчас все хорошо.

— Может быть, но ты все-таки останься — на всякий случай. Останешься, не уйдешь?

— Конечно, останусь. И знаешь, что я тебе скажу? Если б я ушел сегодня к себе... у меня в номере тоже есть окна. Может, мы с тобой встретились бы по дороге вниз.

— Милый, милый. Иди сюда. Положи голову мне на плечо, — сказала она. — И тебе тоже было тоскливо?

— По-видимому, — сказал он.

На этот раз они любили друг друга нежно, и в их любви была сдержанность — плод кризиса, невысказанного и никак не разрешившегося. Но он остался с ней на всю ночь, и уснули они крепко. Молодость взяла свое.

Нью-йоркская премьера потребовала огромного напряжения сил, но принесла и радости, к которым имевшийся у Янка опыт никак не подготовил его. Янк Лукас никогда не бывал на нью-йоркских премьерах, и, хотя ему казалось, что труппу он знает хорошо, маниакальная торжественность актеров и смутила и позабавила его. Их возвращению на Бродвей предшествовала газетная и изустная реклама, из которой следовало, что этой премьеры пропускать ни в коем случае нельзя. Накануне спектакля Янк зашел в контору Эллиса Уолтона. Эллис сел за письменный стол и сказал своей секретарше по селектору:

— Меня нет — ни для кого.

Но минуту спустя голос секретарши послышался снова. Янк не разобрал имени, понял только, что какая-то персона хочет поговорить с самим Эллисом.

— Ладно, дайте его, — сказал Эллис. Потом тому, кто звонил: — Говорит Эллис Уолтон... Разве я могу ему отказать? Кому другому, только не ему. Не знаю, где я их достану, но достану. — Он повесил трубку. — Это секретарь мэра. Мэр у нас в списке посетителей, но на вашу премьеру ему понадобились еще два билета. — Разговор Эллиса и Янка прерывали несколько раз, и каждый раз это были просьбы важных персон достать билеты на премьеру. — Вы, наверно, знаете из газет, что билеты идут по сотне долларов за два места, и цены еще поднимутся, — сказал Эллис.

— По такой цене я и свои продам, — сказал Янк.

— Я думаю, Пег Макинерни говорила вам, что, если вы хотите заработать мелочишку, можете продать свои постоянные места на все время, пока идет пьеса. Любой комиссионер с удовольствием заключит с вами сделку.

— Я отдал их Пегги, — сказал Янк.

— Быстро вы эту науку постигли. В таком случае отсылайте к Пегги всех, кто будет просить. Это избавит вас от лишних хлопот. Пег рассказывала вам о нашем с ней разговоре?

— Да.

— Получу я две ваши следующие пьесы?

— Не знаю. Я не хочу вас терзать, но все будет зависеть от Пегги.

— Казалось бы, мяч был послан вам лично...

— И напрасно, — сказал Янк. — Пегги знала, что так оно и будет, и я говорю вам в последний раз, Эллис, все мои дела в руках Пегги.

— Ладно. Сдаюсь. Следующий вопрос. Кто такой Жук Малдауни?

— Понятия не имею, — сказал Янк.

— Да? Этот тип был здесь вчера и позавчера. Называет себя вашим

другом. Вчера оттолкнул мою секретаршу и вломился ко мне в кабинет. Меня как раз подстригал парикмахер, а он вломился и потребовал ваш адрес и телефон. Жук Малдауни. Он, кажется, знает...

— Черт возьми! Ну конечно! — сказал Янк. — Он однажды спас мне жизнь. И это было не так уж давно.

— И вы могли забыть человека, который спас вам жизнь?

— Да я не запомнил, как его зовут. Что ему нужно? Мой адрес и телефон? И это все?

— От меня он больше ничего не требовал. А от вас... от вас потребует побольше. Слава Богу, он не мне спас жизнь. Не хотелось бы у такого быть в долгу.

— В какой-то степени вы тоже у него в долгу. Но пусть это вас не беспокоит.

— Шантаж бывает разный, а этот случай, наверно, из самых зловредных. Будь он китайцем, пришлось бы ему взять на себя заботы о вас до конца ваших дней.

— Да, я это слышал. Но он не китаец, и я тоже. Так что его требования я выполню — в разумных пределах.

— В чьих пределах? В его или в ваших? От этого типа не так-то легко отделаться.

— Сколько бы я ему ни дал, это будет в последний раз.

— Мой вам совет, Янк: не давайте денег. Сделайте ему какой-нибудь подарок, только деньгами не давайте.

— Блестящая идея, — сказал Янк. — В счет погашения своего долга я вместо денег преподнесу ему подарок. — Он помолчал. — Вы говорите, шантаж бывает разный. А вас когда-нибудь шантажировали?

— Да, но не так, как это обычно делается. Есть два-три актера, которые шантажируют меня. Они знают, что я их жалею, сочувствую им. И приходят ко мне просить роли, хотя дело вовсе не в ролях. Знают, что никаких ролей я им не дам, даже если они будут играть задаром. Но они приходят и сидят часами там, у секретарши, пока я не скажу, что у меня ничего для них нет, и суну им несколько долларов. Пользуются моей слабостью, кровососы. А еще вот, слышали? Сейчас в моде одинокие люди. И мы все должны жалеть этих одиноких. От них требуется одно — будь одиноким, а уж мы порыдаем над тобой. Почему они одиноки, как они стали одинокими — это не важно. Некоторые одиноки потому, что никогда не моются и от них воняет. У других дурно пахнет изо рта. Третьи такие сволочи — хуже не бывает. Но раз за ними утвердилась слава людей одиноких, мы все обязаны танцевать вокруг них. Даже если они нас

ненавидят. Один сосед по дому называет меня жидовской сволочью, а знаете, что говорит моя жена? Она говорит: «Ему многое можно простить — он такой одинокий!» И этот тип попросил у меня два билета на вашу премьеру, причем бесплатных! Знаете, что я ему сказал? Я сказал: «Если я был жидовской сволочью в октябре, то я и сейчас жидовская сволочь, и катись к такой-то матери». Что еще моя жена на это скажет! Но я позволил себе такое удовольствие.

— Сладость мести, выражаясь оригинально, — сказал Янк.

— Да, не должна бы она услаждать нас, но услаждает. Кого вы ненавидите, Янк?

— Не знаю. А что?

— Я придерживаюсь такой теории относительно вас, что чувство ненависти вам незнакомо. А по другой теории, вы никого не любите, — сказал Эллис.

— Вы о ком-нибудь конкретно?

— Да можно бы и конкретно, — сказал Эллис. — Но необходимости такой нет. Человек спасает вам жизнь, а вы с трудом его вспомнили. В «Алгонкуине» вы видите соблазнительную бабенку, с которой когда-то развлекались, и проходите мимо нее. Не знаю, Янк, не знаю. И Бостон вас никак не расшевелил. Такие рецензии! Чтобы попасть завтра на вашу пьесу, люди платят по сотне долларов. Мэру понадобились два лишних билета. Высшее общество. Киношники. А вы, пожалуй, способны записаться на завтра к зубному врачу.

— Совершенно верно, завтра утром я у зубного врача, — сказал Янк.

— Понимаете, о чем я говорю? Вы, наверно, и пьяным никогда не бываете. Сделайте мне одолжение. Хватите лишнего у меня на приеме. Я хочу посмотреть, как вы веселитесь.

— Очень жаль, Эллис, но у вас на приеме я не буду.

— Не будете? Вам непременно надо быть. Ведь прием в вашу честь и в честь Зены. Все придут. Князь Оболенский. Марлен Дитрих. Мистер и миссис Гилберт Миллер. Цыганка Роз Ли. Все знаменитости. Грегори Пек. Эльза Максвелл. Берни Барух. Может быть, сам мэр. Я не решаюсь вам сказать, во сколько мне обойдется это сборище. А где вы будете? Приедет Зена, вы же должны ее сопровождать.

— Для меня это просто имена, которые встречаешь в газетах, Эллис.

— Ну так что ж? Эти люди заслужили, чтобы о них писали в газетах.

— Бруно Ричард Гауптман тоже заслужил.

— Кто? Ах, тот, который похитил ребенка Линдберга. Бросьте, Янк. Нельзя так подводить Зену.

— Можно, Эллис, можно.

— Боже мой! Да вы с ней поцапались, что ли? Так ее расстраивать, и когда — накануне премьеры! Ведь для Зены это будет величайшим днем в ее карьере.

— Хотя это нескромно с моей стороны, но я тоже так считаю. И мне бы очень не хотелось портить ей настроение в такой день.

— Слушайте, Янк, она мечтает появиться с вами среди гостей. Я знаю, что говорю, потому что знаю эту дамочку, Янк.

— Какой от меня прок, от костлявого очкарика? Пусть появляется со Скоттом Обри.

— Вы предупредили ее?

— Нет, но я вас предупреждаю.

— Вы мне не ответили, где вы будете.

— Скорее всего у Пегги Макинерни.

— Вы шутите? Это не иначе как шутка.

— Я сам не знаю, где я буду.

— С кем же Зена приедет на мой прием?

— Сама с собой.

— Что-то у вас с ней случилось.

— Не то, что вы думаете, Эллис.

— Опять устраиваете мне пытку? Вам бы только терзать людей. Никого не любите и ненависти ни к кому не чувствуете.

— Я уезжаю, Эллис. Я бы заставил вас дать мне слово, что вы сохраните все втайне, но это, кажется, не потребуется. Завтра вечером, как только пойдет занавес перед третьим актом, я сяду в машину Пегги и уеду и буду ехать до тех пор, пока хватит сил.

— Куда?

— Не куда, а откуда. Отсюда, — сказал Янк.

— Понятно. От всей этой кутерьмы.

— От всей этой кутерьмы, — сказал Янк. — От себя самого не уйдешь, но если удастся вернуться назад, к себе самому, может быть, я начну делать то, что мне хочется делать. То, чего я давно уже не делаю.

— То есть писать, — сказал Эллис.

— Да.

— Ну что ж, удерживать вас от этого было бы с моей стороны неумно, хотя вы мне ничего не обещаете. Но что будет с Зеной? Она бросила Бэрри Пэйна, чтобы прилепиться к вам. А теперь у нее никого не останется.

— Так ли это, Эллис?

— Я не о том, что ей не с кем будет спать. Зена привыкла, чтобы о ней

заботились, и речь идет не только о постельных делах. Даже вы заботились о ней, по крайней мере все время были вместе. Знаете, для женщины, в прошлом чуть ли не шлюхи, в ней много от настоящей жены. Она вас никогда не обманывала.

— Кажется, не обманывала. Нет, конечно, не обманывала, — сказал Янк. — Какое-то время я мог бы приносить ей пользу. И привык бы к этому, и увяз бы, и ничего бы не делал из того, что хочется делать. Потом наступит день, когда она перестанет нуждаться во мне, а я пустил по ветру год, два года и уже по привычке откладывал работу в долгий ящик. Вот почему я уезжаю завтра.

— И вам не совестно бросать ее?

— Нет.

— Она ведь была для вас не только постельной принадлежностью, Янк. Я это знаю. Я не раз видел, какими глазами вы смотрите на нее. Так на девок не смотрят. Она дорога вам.

— Да, пожалуй, как никто другой.

— По словам Марка, Марка Дюбойза, у вас врожденное чутье на драматические ситуации. Вот такую ситуацию вы и создадите, когда оставите Зену завтра вечером.

— Вздор. Все вздор, Эллис. Я иду на это только из чувства самосохранения. Ничего драматического тут нет.

— Уж больно здорово момент подгадан, в этом и драматизм, — сказал Эллис. — А может, подгадан плохо, но это уж как она посмотрит.

— Да, подгадано в самый раз.

— Признайтесь мне... не хотите — не надо... но вот сегодня ночью вы ляжете с ней. И все будет так, точно ничего такого и не предвидится?

— Да, если она будет в настроении.

— И она ничего не заподозрит?

— Врядли. Не забывайте, ведь у нее завтрашняя премьера на уме.

— И это будет ваша последняя встреча с ней?

— А, черт вас возьми. Нашли о чем спрашивать. Откуда я знаю, что будет через год, через десять лет? А может, вы собираетесь вселиться к ней? Поэтому и спрашиваете?

— Нет, я вот о чем думаю: неужели можно в последний раз лечь с женщиной и ничем не выдать, что это последний раз? Я бы не мог. Очутись я на вашем месте, она поняла бы, что дело неладно. Я много болтаю в постели. Что ни придет в голову, то и говорю. Теперь отвечу на ваш вопрос — не думаю ли я вселиться. Было время, когда я и длинной жердью до нее бы не дотронулся. Теперь дело другое. Эта бывшая нимфоманка того и

гляди станет одной из первых леди на театре. Она медленно, но верно подбирается к тому неуловимому, что называют класс. Зена Голлом, которую я, бывало, нанимал за сто семьдесят пять долларов, — это совсем не та Зена Голлом, что участвует у меня в завтрашней премьере. Заглядывая вперед, когда мне пойдет седьмой, а то и восьмой десяток, я бы не прочь побаловать себя интимными воспоминаниями о ней. Как Пег Макинерни с ее знаменитыми писателями. Как те богачи с их оперными примадоннами.

— Тогда мой отъезд вам на руку. Действительно, я здорово подгадал.

— Если только она не вернется к этому без пяти минут гангстеру.

— Не вернется, — сказал Янк. — А если и вернется? Вы же не собираетесь жениться на ней.

— Кто говорит, что не собираюсь? Если, сохрани Господи, моя теперешняя жена опять вздумает кататься верхом в Сентрал-парке, как несколько лет назад, и ей попадетя норовистая лошадь, которая сбросит ее в пруд, почему бы процветающему продюсеру не предложить руку и сердце Зезде? Развод с теперешней моей супругой обойдется слишком дорого. Но если условия позволят, я бы женился на Зене. Мы с ней одной религии, а это весьма кстати.

— Опять вы, Эллис, несете чепуху. Вам хочется спать с ней, и так оно, наверно, и будет.

— Вы не допускаете, что у меня могут быть более высокие соображения?

— Нет.

— Ну что ж, может, вы и правы. Спорить с вами я не стану. Должен только сказать, что из вас получился бы мерзкий шадхен, если вы понимаете это выражение.

— Сват.

— У вас прекрасный слух, Янк. Прожили вы в Нью-Йорке недолго, а сколько еврейских словечек нахватались.

— При чем тут Нью-Йорк? У нас в Спринг-Вэлли был сосед — профессор политической экономии, Мортон Сперри, с женой и тремя детьми. Так что Нью-Йорку я ничем не обязан — даже несколькими еврейскими словами.

— А у профессора и миссис Сперри дочка была?

— Две дочки.

— Ваши ровесницы?

— Спрашивайте прямо, Эллис.

— Ну как, было?

— С одной было. А что?

— Значит, Зена для вас не в новинку?

— Как еврейка? Зена даже кошерного не соблюдает. Но если хотите узнать о ней побольше, докапывайтесь сами.

— Джентльмен! Закон чести! — сказал Эллис.

— Джентльмен от посудной мойки, — сказал Янк. — Ну, мне пора, Эллис. Вы, надеюсь, бережете свое больное сердце? Столько волнений!

— Ну, положим, насчет больного сердца это все было вранье. Теперь я, по-вашему, преступник, уголовный тип?

— Да нет, Эллис, вы на самом деле славный мальчик.

— Выслушать такое от вас! Считаю это величайшим комплиментом.

— Правильно. Только смотрите, чтобы мой комплимент не ударил вам в голову.

— Когда же мы простимся? Сейчас или завтра вечером? Я хочу пожелать вам доброго пути.

— Если вы только посмеете пикнуть, что я уезжаю, не видать вам ни одной моей новой пьесы. И если вы хоть на пенни меня обманете, я скажу Пегги, чтобы она связалась с Гильдией драматургов. Ну, всего хорошего, Эллис. Завтра вечером увидимся. На минутку.

II

Дом стоял на краю поселка Ист-Хэммонд, население 482 человека, среди которых, видимо, было мало таких, кто рано встает. В центре Ист-Хэммонда Янк Лукас увидел заправочную станцию, но она еще не открывалась — внутри горел зажженный на ночь свет. Лампы горели и в почтовом отделении и в банке. На стрелке дорожного указателя у заправочной станции стояло: «Джорджтаун — 8 миль». Точно такой же знак под ней указывал в обратном направлении: «Куперстаун — 9 миль». Куперстаун Янк Лукас уже видел, он только что приехал оттуда, и признаков жизни в нем было не больше, чем в Ист-Хэммонде. В Куперстауне указатель бензиномаера в машине Пег Макинерни только коснулся буквы Б. В Ист-Хэммонде уже не оставалось никаких сомнений, что о восьми милях до Джорджтауна нечего и думать.

Он подрулил к бензоколонке и вышел из машины. Шести часов еще не было, но откуда-то ведь взялись эти легенды о том, что в Новой Англии встают чуть свет? Он услышал петуха, потом другого, и, пока решал, что ему делать, мимо прогрохотала огромная машина. Это была молочная цистерна. Он помахал шоферу, но шофер не обратил на него внимания. Ни закусочной, ни ресторана здесь, конечно, не было. Почти всю ночь он ехал куда глаза глядят, в городишке Хусик-Фолз сделал остановку и съел два тощих сандвича с рубленным бифштексом, но сейчас опять хотел есть. Хуже того, ему хотелось спать. Он зашел за бензоколонку и помочился — сонливость на минуту исчезла. Ну вот, заехал он сюда, в вермонтский поселок, с кучей денег в кармане, и негде выпить чашку кофе или переночевать за плату. Можно поспать в машине, пока заправочная станция не откроется — час, может быть, два часа, но ему хотелось раздеться, надеть пижаму, лечь на кровать с чистыми простынями и спать, спать, спать. И тут он вспомнил, что возле крайнего дома при въезде в поселок на лужайке была дощечка со скупой надписью: «Сдаются комнаты». До этого дома было всего два небольших квартала, и он пошел туда пешком.

Подойдя к дому с другой стороны, он увидел, что в кухне горит свет. Стоило ему ступить на дорожку к крыльцу, как в доме залаяла собака, а когда он подошел к кухонной двери, она оказалась не заперта. Послышался женский голос:

— Входи, Эд.

— Это не Эд, — сказал Янк Лукас. — Я увидел ваше объявление.

Собака — помесь фокстерьера с какой-то другой мелкой породой — выразила свою подозрительность откровеннее, чем хозяйка.

— Вы приехали на машине? — спросила женщина.

— Я оставил ее у бензоколонки. У меня горючее вышло.

— Там обычно открывают в семь, в половине восьмого. Вы один?

— Один. Я ехал всю ночь, от самого Нью-Йорка...

— От города Нью-Йорка?

— Да. И вот думаю, нельзя ли где-нибудь позавтракать и отоспаться за ночь.

— Обычно после завтрака люди занимаются делами. Разрешите посмотреть паспорт на вашу машину. Какой-нибудь документ. Я, как правило, не беру постояльцев, которые ездят в одиночку. У меня останавливаются больше парами. Муж и жена.

— А черт! Паспорт я оставил в машине.

— Тогда ваши водительские права, — сказала женщина.

— Ну все! У меня их нет.

— Нет водительских прав? Можете нарваться на неприятности.

— Да, знаю.

— Особенно здесь, у нас. Сейчас проводится кампания, вылавливают людей, которые ездят без прав.

— Машина не моя, а моих знакомых. Последние годы мне собственная машина не требовалась.

— Все-таки права иметь стоит. У меня они есть, хотя машины нет.

— Тогда давайте вот как сделаем. Я остановлюсь у вас, заплачу вперед и проживу до тех пор, пока не получу прав в штате Вермонт.

— За комнаты всегда платят вперед, такое уже правило, — сказала женщина. — А никаких других документов у вас нет?

— Страховой полис и воинский билет. И вот это. — Он протянул ей книжечку дорожных чеков на тысячу долларов.

— Лукас. В Куперстауне есть семья Лукасов, они вам не родня? Уоррен Лукас?

— Насколько я знаю, нет. Я родом из западной части Пенсильвании, но последние несколько лет живу в Нью-Йорке.

— Ну что ж, как будто все в порядке. Комната — пять долларов за ночь, деньги вперед. Кормлю я обычно только завтраком. Цена — доллар. После девяти-десяти утра туристы не задерживаются. Им надо в дорогу. Вы как хотите — на неделю и чтобы с питанием?

— Может быть, и дольше. На то, чтобы получить права, неделя уж, наверно, уйдет. Как вы думаете?

— Да кто его знает? Я свои получила так давно, что не представляю себе, какие сейчас порядки и правила, если получать заново. Но неделя-то, наверно, пройдет.

— Ну, тогда на неделю, — сказал он.

— Семь суток будет тридцать пять и, скажем, четыре доллара в день питание — это двадцать восемь и тридцать пять, всего шестьдесят три доллара. Готовлю я сама, ничего особенного не подаю, но пища простая, хорошая. Все свежее, по сезону, хотя кое-что будет из консервов, например спагетти, я их сама люблю. Хлеб и печенье пеку дома. Вы без чемодана пришли?

— Он у меня в багажнике.

— Ну вот, пока вы за ним сходите, я приготовлю вам завтрак. Яйца сварить или яичницу? А кашу будете?

— На полную катушку. Овсянку. Яичницу. Бекон. Тосты. Кофе.

— И выпишите чек на мое имя. Анна Б. Фелпс.

— Шестьдесят три доллара? Я дам наличными.

— Вот и хорошо. От наличных я не откажусь, — сказала она. И засмеялась. — Здорово я вас провела, мистер Лукас?

— Как?

— В Куперстауне никаких Лукасов нет. Да и в Ист-Хэммонде, и в Джорджтауне, и во всей нашей округе тоже нет. Я знаю фамилии почти всех, кто жил в здешних местах за последние двести лет. Была когда-то председателем Исторического общества, так что мне ли не знать.

— Да уж, конечно, — сказал Янк.

Собачонка вскочила с места, негромко радостно взвизгнула, и в дверях появился человек.

— Входи, Эд, — сказала миссис Фелпс.

Человек этот, одетый в клетчатую куртку, называющуюся автомобильной, в рубашку из шотландки, без галстука, в купленных на распродаже брюках морского пехотинца и сапогах из обмундирования десантника, не выказал удивления при виде незнакомца на кухне у Анны Фелпс.

— Здравствуйте, — сказал он. — Здравствуй, Анна. — Он положил свою черную кожаную фуражку на стул и сел к столу. Потом охватил пальцами чашку с блюдцем и принял выжидательную позу.

— Я скоро буду, — сказал Янк.

Когда он вернулся с чемоданом, Эд уже ушел.

— Это был Эд Кросс, — сказала Анна Фелпс. — Он заходит ко мне каждое утро перед работой выпить чашку кофе. Живет по-холостяцки.

Правда, сестра с ним, но она так рано не встает.

— А мне казалось, что в этих местах все встают чуть свет.

— Есть которые и встают. На молочных, на птицефермах. А в поселке зачем вставать раньше половины седьмого или семи часов?

— А что делает такой человек, как мистер Кросс?

— Что делает Эд? Как по-вашему? — сказала Анна Фелпс.

Она поставила на стол тарелку с овсяной кашей и показала ему на кувшин со сливками.

— По-моему, он работает руками. Они у него сильные. Ногти обломаны. Не плотник?

— Да, в этом роде. Он кровельщик, вернее, раньше был кровельщиком. Теперь работает от городского управления. Водит школьный автобус, а в свободные часы — грейдер и трактор. Вот кого надо было спросить, как получают права. Не сообразила я, да мне надо было думать о трех отдельных завтраках: Эду, вам и себе. Ну, как овсянка?

— В самый раз. Я люблю чуть солоноватую.

— Это потому, что я положила сверху кусок соленого масла. В том все и дело. Человеку вашего сложения нечего бояться лишнего веса. А вот Эду надо за собой следить. Он теперь пьет кофе без сливок. Без густых сливок. Я их разбавляю — половина на половину. Врач велел ему сбросить фунтов двадцать. Это было два года назад. Он, правда, не сбросил, но и не прибавил. Если человек работает во всякую погоду, ему нужно немножко жирку. Костлявых эскимосов еще никто не видел.

— Я вообще эскимосов не видел.

— На картинках-то видали. Из вас эскимоса бы не вышло.

— Пока что меня на это никто не соблазнял, — сказал Янк.

— Как так не соблазнял?

— Превратиться в эскимоса, — сказал Янк.

— А-а, понятно. Поджарить вам еще хлеба?

— Да нет. Спасибо. А мистер Кросс вдовец?

— Почему вы спрашиваете? Да, вдовец. Но почему вам пришло в голову поинтересоваться?

— Я приглядываюсь к людям. Последнее время все думаю, как человек проявляет заботу о других. Вот, например, вы кормите Кросса по утрам завтраками, а его сестра тем временем лежит себе в постели.

— Да при желании Эд мог бы и сам приготовить завтрак. Кое-что он так готовит — первый класс. Но его жена была моя большая приятельница, и это уж самая малость, чем я могу ему помочь. Он мою помощь отрабатывает. У нас здесь знаете, какие снежные заносы бывают? И если

бы Эд не приходил с лопатой, мне бы самой надо было вылезать и откапываться по утрам. Сколько раз, бывало, наметет вровень с подоконником. Не будь Эда, Принцу утром и не выйти бы по своим делам.

— Принц — это тот свирепый пес, который хотел отгрызть мне ногу? — сказал Янк.

— Ага. Ну, если вы кончили, я покажу вам вашу комнату. Она в мансарде, там вам будет спокойнее, и отдельная ванна есть. Раньше наверху ванны не было, но я поставила позапрошлым летом. Новенькая. Я весь день то ухожу, то прихожу, так что если вы проснетесь и захотите есть, можете слазить в холодильник.

— Я, кажется, целый день просплю. Может быть, даже до следующего утра.

— Вот и хорошо. По вечерам у нас делать особенно нечего. В Джорджтауне есть кино, да мне до того надоело — все Джин Отри, Джин Отри, Джин Отри. Я совсем перестала ходить. Эду он ничего, нравится, но Эд любит пение, а я нет.

— Большое вам спасибо, миссис Фелпс, — сказал Янк.

Они продолжили знакомство ближе к вечеру. Янк, в пижаме и в купальном халате, пил на кухне кофе с поджаренным хлебом, и в это время вернулись миссис Фелпс и Принц.

— Сами хозяйничаете? — сказала она. — Ну как, отоспались?

— Спасибо. Немножко, — сказал он.

Она улыбнулась.

— Я вижу, вы поджарили хлеб над огнем. Эд тоже так любит. А готовить вы умеете?

— Не мастак. Зато посуду мою очень хорошо.

— В армии многие молодые люди этому научились.

— Я научился в ресторанах. Работал мойщиком посуды.

— Чем вас покормить? Если подождете, то скоро ужин. Нет, лучше подгоните сюда машину, пока заправочная станция не закрылась. А то еще заподозрят что-нибудь, если она простоит всю ночь. Хозяин там Мэтт Льюис. Скажите ему, что остановились у меня, тогда он не станет приставать с расспросами. Он вроде полисмена. Констебль. Я не знаю, как это у них там, но Мэтт имеет право арестовывать. Если машина заночует у него, не миновать вам его расспросов, и тогда выяснится, что у вас нет прав.

— Господи! Да вы обо всем подумали, — сказал Янк. Он оделся и пригнал машину. У него появилось смутное подозрение, что Анна Фелпс заглянула к нему в чемодан.

— Я перестелила вам постель, может, вы еще не выспались. И прибрала в комнате и проветрила. Ну, как там с Мэттом, все обошлось?

— Стоило только сказать, где я остановился.

— По-моему, вы еще поспите. Правда, вид у вас — не сравнить с утренним. Давайте я сделаю вам гренки на молоке, вы поедите и пойдете к себе досыпать.

— А одеяльце вы мне подоткнете?

— Что?.. Знайте меру, мистер Лукас. Знайте меру.

— Да я пошутил, вы же понимаете, — сказал он.

— Дурная шутка, — сказала она.

— Да, верно. Извините меня. Больше я не буду злоупотреблять вашим гостеприимством.

— Прошу не забывать, всему есть мера. Я, может быть, гожусь вам в матери, но я не мать вам. Гренки принесу, когда будут готовы.

Раз или два в течение ночи его будили какие-то звуки и отсутствие звуков, но все остальное время он спал крепче даже, чем днем. Долгий сон показал ему степень его физического и нервного истощения, и не столько путешествие, сколько сон был тем средством, тем мостом, по которому он совершил переход от мира, оставленного позади, к миру, открывшемуся перед ним. Он лежал в уюте чистых белых простынь, на чистой белой наволочке, заведя руки за голову, спокойно глядя перед собой широко открытыми глазами. Он освежился, восстановил, укрепил силы и чувствовал себя свободным. Он узнал по грохоту молочную цистерну, когда она проехала мимо дома, и этот звук был уже знаком ему, уже входил в его новую жизнь. Он встал, побрился, надел халат и сошел вниз. Фокстерьер проворчал для порядка и умолк.

— С добрым утром, миссис Фелпс.

Она подала ему чашку кофе.

— С добрым утром. Я слышала, как наверху вода бежит. Ну вот, теперь вид у вас ничего.

— И чувствую я себя тоже ничего, — сказал Янк. — Мистер Кросс уже был?

— Ему еще рано. Но он придет, не беспокойтесь. Не забыть бы поговорить с ним о ваших правах. Если не я, так вы вспомните.

— Хорошо. Еще я хотел спросить, вам не мешает, если я буду стучать на машинке? Она у меня портативная, не очень стрекочет.

— Вон оно что! Вы писатель? Нет, ничуть не мешает. Писатели у меня никогда не останавливались, но одно время раз в месяц приезжал коммивояжер и печатал свои отчеты на машинке. Иногда за полночь, но

мне это спать не мешало. А могла я слышать о ваших книгах?

— Не думаю.

— Значит, в библиотеке их нечего и спрашивать?

— Пока нет.

— Ну хорошо, идите работайте. Тут грузовики ходят мимо дома, может, это вас потревожит, но после Нью-Йорка... Господи, как там живут в таком грохоте? Я была в Нью-Йорке пять раз, и раз от разу он все хуже и хуже.

— Что поделывать, привыкаешь.

— Как и ко всему другому, — сказала она.

Теперь не то что вчера, он смотрел на Анну Фелпс как на женщину, а не как на хозяйку. Прическа у нее была с пробором посередине, сзади волосы собраны в узел. Кожа так туго обтягивала скулы и подбородок, что не морщинилась и чуть блестела. Нос с горбинкой, ноздри вырезные, губы тонкие, линия зубов ровная. Волосы неопределенного цвета — каштановые с проседью, но сейчас, сегодняшней его взгляд открыл, что глаза у нее карие, поразительно карие и лучшее, что есть в лице. В плечах некоторая округлость, грудь полная, а талия уже не тонкая, но когда-то, наверно, была тонкой. Икры и щиколотки изящные, ступни немаленькие, руки привыкли к работе и не украшают ее. Лет Анне Фелпс за пятьдесят — точнее он затруднялся определить. Он подумал: а что будет, если положить ей руку на бедро? Ему казалось, он знает: замрет, а потом скажет что-нибудь вроде: «Перестаньте, мистер Лукас. Я таких вещей не люблю». А через несколько минут, конечно, подаст счет, где все будет выверено до цента, вернет оставшиеся деньги и велит ему собраться и уехать. Но опять-таки, если прийти к ней в постель часа в три ночи, когда грудь у нее не затянута в лифчик, а равнодушный мир крепко спит, она позволит ему все и не отпустит до рассвета. Не так же сильно она привязана к Эду Кроссу, чтобы лишать себя удовольствия с другими мужчинами. Может, это будет только одна ночь, а утром она выпроводит его, но эта ночь останется у нее обретенной уверенностью в себе, когда она выйдет замуж за Кросса, что, несомненно, произойдет. Не исключена и еще одна возможность: как-нибудь ночью она сама придет к нему. Но это, конечно, маловероятно, если он первый не придет к ней.

— Здесь продают где-нибудь нью-йоркские газеты?

— У нас в Ист-Хэммонде — только летом. Спросите у Боствика в Куперстауне. У них, может, и есть. А если вам только посмотреть, по моему, куперстаунская библиотека выписывает какую-то нью-йоркскую газету. Хотя я не уверена. Знаете что? Кажется, Сеймур Эттербери получает

ню-йоркские газеты по почте. Это здешний фермер, джентльмен, у него около тысячи двухсот акров земли справа от дороги на Куперстаун. Когда едешь, видно крышу их дома. Он стоит в глубине, на четверть мили от шоссе. Но не заметить этих угодий нельзя — побеленная изгородь и на лугах стадо эйрширов, даже не знаю, во сколько голов. Я могу позвонить их управляющему, Адаму Фелпсу, он двоюродный брат моего мужа. Адам, наверно, знает. Вам что-нибудь определенное надо отыскать?

— Да, но ехать туда не стоит. Я попрошу, мне вышлют газеты из Нью-Йорка.

— Имение Сеймура Эттербери стоит посмотреть. Я позвоню Адаму. В эти часы он будет у себя в конторе, вы зря время там не проведете.

— Я не очень интересуюсь молочными фермами, — сказал Янк.

— Да это только предлог. У них там настоящий замок. Мать Сеймура была здешняя. Вышла за Эттербери и уехала в Нью-Йорк, а потом, когда старик Эттербери умер, она откупила эту ферму и расширила ее. Посетителей там пускают от двух до пяти. Отовсюду съезжаются посмотреть, но, по-моему, большинство не отличит эйрширскую породу от гернзейской. Стоит туда съездить.

— Ладно, — сказал Янк.

Анна Фелпс позвонила брату своего мужа. Да, Эттербери продолжают получать ню-йоркские газеты, хотя они приходят на день позже. Газеты будут лежать у него на столе на тот случай, если ему придется выехать на пастбище, когда мистер Лукас приедет. Пожалуйста, можно походить по ферме. Сеймур с женой в Нью-Йорке, и ждут их только к вечеру. Нет, в большой дом заходить нельзя. Эттербери прекратили это дело: слишком много мелких краж и всюду следы от потушенных сигарет. Посетителям разрешается осматривать только стойла и пастбища. И даже там какой-то сукин сын ухитрился стащить оброть ценой двенадцать долларов прямо с коровы. Теперь ведь все крадут, что не прибито гвоздями. Лакей мог бы пустить Лукаса осмотреть дом, но они с ним на ножах, даже не здороваются. А какой он из себя, мистер Лукас?

— Ну, вы, наверно, поняли из нашего разговора, что мне не очень-то повезло. Но ню-йоркские газеты там есть, — сказала Анна Фелпс. — Поезжайте посмотрите ферму. Говорят, в Новой Англии осталось всего две или три таких. Налоги.

Вошел Эд Кросс. Он охватил пальцами кофейную чашку, и этот жест вернул Янка к мысли о том, как он охватил бы бедра Анны Фелпс, если бы его визит в ее комнату оказался удачным. Хорошо бы выкинуть такие мысли из головы и держать их подальше. Восстановленные силы нельзя

растрачивать на совращение первой попавшейся ему женщины. Если эта непонятная, неведомая ему раньше тяга к женщине, которой уже за пятьдесят, не пройдет, придется уехать отсюда, а уезжать не хочется. Янку нравился этот дом, нравился поселок, и он знал почему: поселок был похож на две деревушки, знакомые ему с детства, — деревушки, приютившиеся на восточном склоне горы в Спринг-Вэлли. Убежав из Нью-Йорка, он неожиданно очутился в местах хорошо знакомых, хотя раньше никогда не виданных. Спринг-Вэлли и весь тот район были обжиты выходцами из Новой Англии, и память о Новой Англии эти люди вложили в построенные ими дома. В Спринг-Вэлли наряду с Эвереттами, Эплтонами и Фрэммингами жили даже Феллсы и Кроссы. Тамошние Фрэммингемы были, наверно, здешними Эттербери, с которыми ему не хотелось знакомиться, и вот уже облик Ист-Хэммонда стал настолько же привычным и памятным по прошлому, насколько Нью-Йорк был чужим и суровым. Здесь он может всей душой вслушиваться в тишину, набираясь сил, которые скоро опять понудят его работать. Он знал, что ему хочется делать. Он знал, что ему надо делать. И не затем он отказался от готовых соблазнов Зены Голлом, чтобы добиваться сомнительных побед у Анны Фелпс.

Он не позволял себе похотливых мыслей о Зене. Она была еще слишком близка — близка, как телефон. Ближе телефона. Она была рядом, как Анна Фелпс. Женщина будет нужна ему, будет необходима для общего равновесия, необходима, как еда и сон, когда он начнет работать. Но он сдержит себя, откажется от мимолетного удовольствия до тех пор, пока потребность в женщине не перейдет за пределы удовольствия. Потом ему стало ясно, что через неделю-другую этой женщиной будет Анна Фелпс. Он знал, как все произойдет. Через неделю-другую — когда-нибудь — она начнет задумываться о нем. Каждый день застилая его постель, будет гадать, долго ли он протерпит без женщины. Мысленно она все чаще будет возвращаться к нему и привыкнет думать о нем как о мужчине без женщины. Она будет стелить ему постель, класть его пижаму под подушку, слушать, как в ванной наверху бежит вода, будет кормить его, разговаривать с ним, оказывать ему мелкие услуги и наконец найдет предлог, чтобы подняться в его комнату.

«У вас все в порядке? — скажет она. — Мне послышался какой-то шум наверху».

«У меня был кошмар», — ответит он ложью на ее ложь.

«Свет зажечь?» — скажет она.

«Нет, сейчас все пройдет», — скажет он.

Едва ли ей нужно, чтобы было светло.

«Тяжелый кошмар?» — скажет она.

«Да, у меня это иногда бывает. Посидите со мной».

Он протянет руку, она присядет на краешек кровати, а он молчит. В темноте она будет сидеть лицом к нему и держать его за руку до тех пор, пока рука не ляжет к ней на грудь. Он станет гладить ее груди, а потом их надо будет целовать.

«Вот что вам надо», — скажет она.

«Да, да», — скажет он, и еще несколько минут они будут прикидываться, что больше ничего и не произойдет. Но уйти она не сможет и попытается скрыть свое волнение шуткой. Скажет:

«Ну что ж, семь бед — один ответ», — или что-нибудь в этом роде.

Потом она скажет:

«Ну вот и все».

«А вы не рады?»

«Рада. Мне было приятно, — скажет она. — Только нехорошо так делать, и мы оба знаем, что нехорошо».

«Почему?»

«Нам с вами? Нет, нехорошо. Но мне было приятно. Этого я не отрицаю — очень приятно».

Весь следующий день она будет ходить с полуулыбкой, а ночью опять придет к нему. Дальше этого его фантазия не заходила, потому что он не знал, какие у нее отношения с Кроссом.

— Анна говорит, что вы хотите получить водительские права, — сказал Эд Кросс. — В Вермонте их дают с восемнадцати лет, но вам, наверное, уже стукнуло... Может, я помогу ускорить это дело.

— Большое спасибо, — сказал Янк.

— А пока он не получил прав, можно ему ездить на своей машине? Как ты думаешь?

— Да ведь мы с тобой знаем таких, кто спокон веку ездит без прав и никак не удосужится их получить.

— Сейчас за такими охотятся.

— Да, это верно.

— А у мистера Лукаса к тому же нью-йоркский номер, — сказала Анна Фелпс.

— Тогда он лезет на рожон. А зачем? Что ему, съездить куда надо?

— На ферму Сеймура Эттербери.

— Мм... Дать, что ли, мою машину? Номер на ней вермонтский, и права у меня, конечно, есть. У него прав нет, но в моем рыдване его вряд ли остановят. Моя машина здесь каждому известна, подумают, я ему

разрешил. Полезно иметь хорошую репутацию, всегда может пригодиться.

В Ист-Хэммонде все знали машину Эда Кросса, и неудивительно. Это был «Форд V-8» — ветеран, претерпевший не одну вермонтскую зиму и не избалованный вниманием со стороны хозяина.

— Но она все еще на ходу, — сказал Эд.

Янк поехал на ней и без труда нашел ферму Эттербери.

— Я вижу, вы приехали на машине Эда Кросса, — сказал человек, встретивший Янка в конторе. — Я Адам Фелпс. Анне уж очень хотелось, чтобы вы осмотрели хозяйский особняк, но там не моя территория. Об этом надо говорить со старшим лакеем. Я с ним не якшаюсь, разве только по крайней необходимости. Вот нью-йоркские газеты начиная с понедельника. Накапливаются тут, пока хозяина нет дома, но выбрасывать их не велено. Он любит кроссворды. Уж сколько лет решает и ни на одном не споткнулся.

— Постараюсь не растрепать их. Мне надо посмотреть только две заметки.

— Ну-с, если тут есть все, что вам нужно, я вас оставляю, — сказал Адам Фелпс. Это был высокий, ширококостный человек в клетчатой рубашке и зеленых брюках морского пехотинца, заправленных в коричневые резиновые сапоги с короткими голенищами. Он надел суконную куртку и ярко-красную фетровую шляпу и взял из шкафа двустволку. — Малоприятная работка, — сказал он. — До их приезда надо пристрелить старого сеттера. Не живет, а мучается. Она сказала: «Сделайте это до нашего возвращения».

— Вот жалость, — сказал Янк.

— Что поделаешь, ему шестнадцать лет, а для сеттера это порядочный возраст. Сам того и гляди сдохнет. Ничем уже не интересуется и так смердит, что другие животные шарахаются от него.

Адам Фелпс пошел убивать собаку, а Янк Лукас сел в его вращающееся кресло и стал читать нью-йоркские рецензии. Сначала он пробежал их наскоро, посмотрел, где хвалят, где нет, но все они были чрезвычайно хвалебные. Он перечитывал отзыв Аткинсона, когда за окном раздался выстрел. Он подождал второго, но его не было. Такой человек, как Адам Фелпс, делает свое дело чисто. От картины, мгновенно возникшей перед Янком — нечто страшное лежит на земле у ног Адама Фелпса, — все, и рецензия, и театр, и даже сама жизнь, показалось таким пустым, мелким, и ему не захотелось читать дальше, но он все-таки посмотрел, что эти два критика пишут о Зене Голлом. Оба рассыпались в комплиментах по ее адресу, и Янк мысленно поблагодарил их; только неблагодарное существо могло бы требовать чего-нибудь еще, — значит, теперь он

свободен. Ему стало уже не так жалко собаку.

Он подровнял газеты и сложил их на столе. В контору вошел Адам Фелпс. Он поставил двустволку обратно в шкаф, положил неиспользованный патрон в ящик и повесил шляпу и куртку на кольца на стене.

— Готово дело? — сказал Янк.

Адам Фелпс кивнул.

— Закапывать пусть другие закапывают. В это время года у нас здесь многих хоронят. Людей. Кто умирает, когда почва замерзла, тому приходится ждать похорон до весны. За последние недели я ровно четыре раза хоронил. Двое знакомых, двое родственников. Хватит с меня, велел одному рабочему — пусть отдаст последний долг собаке. Зачем же быть управляющим, если не можешь свалить кое-какую работу на других? Ну как, нашли, что вам нужно?

— Нашел. Спасибо.

Дверь распахнулась, в контору вошла молодая женщина.

— Мистер Фелпс, можно, я возьму джип? Ах, простите. Я не знала, что вы заняты.

— Ничего, пожалуйста. Да, можете взять при условии, что вернете его обратно к половине пятого. До тех пор он мне не понадобится. Опять с вашей что-то случилось?

— Аккумулятор сел. Вильям уверяет, будто я оставила зажженные подфарники на всю ночь. Как это могло произойти, не знаю, но с Вильямом спорить бесполезно. А мне надо в Куперстаун делать прическу. Сегодня я должна выглядеть на все сто. Так что я буду вам очень обязана.

— Ключи в машине.

— Спасибо, спасибо, — сказала молодая женщина и затворила за собой дверь.

— Кто это? Она работает здесь? — сказал Янк.

— Работает? Как бы не так! Это ее дочь, хозяйкина дочь, от первого мужа. Шейла Данем.

— Дуновение весны, — сказал Янк. — Она всегда здесь живет?

— Конечно, нет, — сказал Адам Фелпс. — Разводится, вот и приехала сюда. Замужем за каким-то бостонцем, но он, наверно, решил, что с него хватит. Такой с меня бы тоже хватило.

— Молода она для развода.

— Года двадцать три, двадцать четыре. А может, и все двадцать пять.

— Выглядит моложе.

— По уму ей самое большее пятнадцать, — сказал Адам Фелпс.

— В данном случае это, наверное, не мешает.

— Вот именно. Родилась богатой, вышла замуж за богача и разводится, наверно, по-богатому.

— Я не только о деньгах, — сказал Янк.

— Ну, это само собой. Бегает тут в брючках и в свитере, только мужиков распалает. Дойдет когда-нибудь до группового изнасилования, может, это ее проучит.

— Здесь? В Вермонте?

— Угу. У меня тридцать четыре человека рабочих, а из них больше половины еще и года нет, как приняты. Нанимаешь, кто придет, без разбора. Французы из Канады. Ирландцы. Два негра. Ведь кому-то надо убирать коровье дерьмо. Они не то что мигрируют, но проработают самое большее год и уходят. Холостяков, а таких много, мы селим в бараке. Именуют его общежитием, но название «барак» больше в ходу. Хотите взглянуть?

— Я как-нибудь еще приеду, если позволите. А сейчас мне надо заняться письмами.

— Анна говорит, вы вроде писатель. О нашей ферме много чего можно написать. Сам я на это никогда не решусь, у меня неважно с орфографией, да и на машинке печатаю кое-как — тычу одним пальцем. Но кому-нибудь надо бы написать историю этого поместья с тех времен, как тут была просто ферма старика Сеймура, и по нынешний день. И все равно никто не узнает, какие деньги в него ухлопаны. Дело в том, что мать хозяина здесь родилась и нигде больше не хотела жить — только на своей ферме. Могла уехать куда угодно и жила какое-то время в Англии и в Калифорнии. Но больше всего ей нравилось здесь. Да, про эту ферму можно написать целую книгу — конечно, опустив кое-какие подробности. — Он широко повел рукой, показывая на картонные, деревянные и стальные картотеки. — Тут все записано, о каждой корове, которая у нас была в хозяйстве. Процент жирности молока, заболевания и прочее тому подобное. Быки-производители и их потомство. Хотите, выдвину ящик и скажу вам, сколько стоил культиватор в девятьсот шестнадцатом году или когда мы пустили первый трактор. Один мерзавец из налогового управления заявил, что наша ферма просто хобби богатого человека. Но когда мы показали ему, как у нас тут поставлено дело, он прикусил язык. Вначале-то, может, и было хобби, но с тех пор мы почти каждый год заканчивали с прибылью. На таких фермах прибыль надо давать, не то налоговое управление обрушится на вас и наложит всякие запреты. Я служу здесь пятый десяток, считая и летние месяцы, когда учился в школе и в колледже, но у нас есть два человека,

которые еще до меня сюда поступили.

— Вот сами и напишите. Образование у вас высшее. Вы где учились?

— Кончил в Берлингтоне. А вы где?

— В захолустном колледже в Спринг-Вэлли, штат Пенсильвания.

— Спринг-Вэлли? У нашей студенческой организации там был филиал. Я — Фи Дельта Тета. А вы?

— Фи Гамма Дельта. Но я не очень блистал в студенческих организациях. Жил дома. Мой отец преподавал в том колледже, а он был членом Фи Гамма, так что я пошел по его стопам.

— У нас в Вермонтском университете не было Фи Гаммы. Не знаю почему. Я тоже пошел по стопам отца, но и сам туда бы попал как футболист. Я забил гол в ворота йельской команды.

— Здорово, наверно, играли.

— Да, неплохо. И всегда был в форме, потому что в летние каникулы работал на ферме. Не очень ловкий, но сильный. Когда я забил тот гол, на игре были хозяин со своим отцом, и, по-моему, это доставило им не меньшее удовольствие, чем мне. Ну, может, не совсем. Но он и оба пришли в раздевалку, и это меня порадовало. Йельская команда, конечно, выиграла, так что их мой гол не очень огорчил. Мы проиграли со счетом шесть — сорок два.

— Я, к счастью, был легковат для футбола, — сказал Янк. — А где вы живете, здесь, в поместье?

— Да, конечно. У нас собственный коттедж вон там, в дальнем конце. Я говорю «собственный», хотя это не совсем так. Он полагается по должности. Но кроме нас, там никто не жил, и мне обещано, что он останется за нами, когда я уйду на покой. Хозяева редко к нам заходят, только когда мы пригласим.

— Неплохо вы устроились, — сказал Янк.

— И хозяевам неплохо, выгода обоюдная, — сказал Адам Фелпс. — Обычно мы с женой уезжаем куда-нибудь отдохнуть раз в два года, но уже через неделю меня тянет домой. Начинаю нервничать и беспокоиться, случена ли вовремя какая-нибудь корова. В таком хозяйстве забот хватает.

— Вот я и удалюсь под эти ваши слова, — сказал Янк.

— Приезжайте еще, в любой день, — сказал Адам Фелпс.

По дороге домой Янк увидел, как Шейла Данем — ее легко было узнать по брюкам и свитеру — вышла из почтовой конторы. Вот кто вполне мог бы отвлечь его от глупостей с Анной Фелпс.

Да, он решил пока что остаться в Ист-Хэммонде. Этому решению способствовали рецензии на его пьесу. Денег хватит еще на год, а то и

больше, и не надо будет возвращаться к мойке посуды или поступать на уборку коровьего дерьма к Адаму Фелпсу. В Нью-Йорке никто не знает, где он находится, а Пег Макинерни предупреждена, что раньше чем через месяц-полтора писем от него не будет. Случайность, из-за которой он закончил свое путешествие в Ист-Хэммонде, могла бы произойти и в Хусик-Фолзе, штат Нью-Йорк, и в Куперстауне или в Джорджтауне, штат Вермонт, но произошло это в Ист-Хэммонде, и в его жизнь уже вошли Анна Фелпс, и Эд Кросс, и Адам Фелпс, и семейство Эттербери, которых он не видел, и Шейла Данем, которая попалась ему на глаза. Он успел познакомиться с собакой по кличке Принц и слышал выстрел, прикончивший ту, другую. Скоро он получит водительские права, и у него есть место, где поставить пишущую машинку. Каждое утро точно, минута в минуту, он будет ждать грохота молочной цистерны. Все было бы, может, точно так же, если бы бензин кончился у него в Хусик-Фолзе, или Куперстауне, или Джорджтауне, а может, и нет. Он не верил в любовь, но верил в некую центробежную силу, которая закрутила его и выбросила именно здесь. Больше ему ни во что верить не надо. Он не был убежден, что существует в мире божественное милосердие, да и Бог для него тоже не существовал. С другой стороны, почему бы не отнестись с доверием к двум говорливым янки, ведь они сами до какой-то степени доверились ему: Анна Фелпс, которую он уже представлял себе своей любовницей, и Адам Фелпс, который поделился с ним своей гордостью — голом, забитым в ворота йельской команды. Лучше всего то, что ему не пришлось покупать их доверие образчиком своей продукции. Не потому они так хорошо его приняли, что он написал великолепный третий акт.

Приступать к работе было легко. Трудно было не работать. То ценное, что он постиг о театре за последние несколько месяцев, можно бы постичь и за неделю, остальное время потрачено зря. С Зеной время не потрачено зря, и даже с Эллисом. И знакомство с Бэрри Пэйном, Сидом Марголлом, Пег Макинерни, Скоттом Обри, Марком Дюбойзом тоже пойдет на пользу — как и знакомство с Жуком Малдауни. Но, общаясь с ними, он не работал, и больше этого не будет. Его пьеса, написанная до того, как он узнал, что такое софиты и что такое актерские накладки, пробила ему дорогу в театр. Такие вещи знать не мешает: все, все надо знать. Хотя, чтобы написать хорошую пьесу, можно обойтись и без этих знаний. И не обязательно знать даже Зену Голлом, и Эллиса Уолтона, и Марка Дюбойза. Когда он писал эту пьесу, у него была знакомая девица, которую возбуждали надрезы бритвой. Предшественник Эллиса Уолтона, если его можно так назвать, был грек, который вел незаконную продажу виски в своей закуской на Двадцать

третьей улице. Янк знал его только по имени — Джордж. Когда Янк сидел без гроша, он мог пойти к Джорджу и выпить там разбавленного молока, съесть лежалый сладкий пирог. Денег Джордж ему не платил, но на аварийный паек всегда можно было рассчитывать. По закону нельзя было брать человека на работу без оплаты, но нельзя было и разбавлять молоко, жульничать на бегах, играть в запрещенные игры, равно как и позволить заведомым преступникам обдeldывать свои темные делишки в заведении Джорджа. Гомосексуализм — за это Джорджа в конце концов посадили — считался безусловно противозаконным, но в тюрьме ему будет не так плохо, как другим, сказал Джордж. Он был философ вроде Эллиса Уолтона, но другой школы.

Джордж будет действующим лицом в его новой пьесе. Джордж и мать одного мальчишки — женщина, которая оставляла своего сына с Джорджем, когда ей требовалось накачаться наркотиками. Еще там будет девица, которая любила, чтобы ее царапали бритвенным лезвием. Запойный католический священник. Шофер грузовика — завсегдашай портowych кабаков. Жалкий поэт, который не мог пройти мимо мусорного ящика, чтобы не обследовать его содержимое, но никогда не находил того, что искал. Жук Малдауни, спасший человеческую жизнь. Натурщица, которую любовник звал рабочей скотинкой. Уборщик-кубинец, снимавшийся в порнографических фильмах. Стодолларовая проститутка, которая влюбилась в этого кубинца, посмотрев один такой фильм. Пожилая портовая шлюха по кличке Нэнси-Хвать. Гарри-Красавчик, который за мзду брал подсудимых на поруки. Двадцатилетняя дочь гробовщика, по прозвищу Святоша.

Янк с удовольствием писал свою новую пьесу. Как и в первой, что теперь всерьез и надолго обосновалась на Бродвее, так и в этой у него было на очереди около пятидесяти действующих лиц, намного больше, чем ему понадобится и войдет в окончательную редакцию. Но пусть они ждут за кулисами, вдруг им будет велено выйти на сцену? Некоторых из них он убрал из своей предыдущей пьесы, но они не желали уходить совсем. Теперь это его старые друзья, и кое-кто заслужил, чтобы пьесу написали именно о них. Все они это заслужили, не было такого, кто не заслужил бы. Но отбор делается инстинктивно; с некоторыми женщинами проводят только ночь, на других женятся. Не каждому дано стать президентом Соединенных Штатов. Но Янк знал, что в руках у него опять богатства — богатства неиссякающие, пока он тратит их. Это действующие лица, которые владеют им, отказываясь уходить. Вот где его любовь — и не надо искать ее где-то еще, — любовь к людям, которых он видел, а потом

выдумывал, любовь к людям, которых он выдумывал, а потом видел. Обидно, дьявольски обидно, что он не может любить женщину так, как любил свою жену банковский кассир в Грэнд-Рэпидсе, штат Мичиган! Обидно, дьявольски обидно, что он не может любить такую самочку, как Зена Голлом! Любить? Он любил Нэнси-Хвать не тогда, когда она клянчила деньги у котельщиков в салуне на Двенадцатой авеню, а здесь, в идеально чистой, типично американской спальне в Ист-Хэммонде, штат Вермонт.

Время теперь снова протекало для него двояко: время безмерное и незаметное, когда он писал, и обычное, измеряющееся секундами, минутами и часами. Он составил себе нечто вроде расписания, которое начиналось с утреннего грохота и дребезга молочной цистерны, потом — завтрак с Анной Фелпс и Эдом Кроссом, потом снова вверх, в свою комнату и к своей машинке. Он взялся ходить за утренней почтой — ему писем пока не было, — чтобы размяться и подышать свежим воздухом. После обеда читал газеты и журналы, спал, умывался — и снова за работу. Иногда ездил в Куперстаун и Джорджтаун за покупками — брал там бумагу и ленты для машинки. После ужина чаще всего оставался лома один: Анна Фелпс оказалась большой любительницей всяких комитетов, которые занимаются мелкой филантропией в маленьких городках. Если их собрания были в Ист-Хэммонде, она ходила туда пешком, в Куперстаун и Джорджтаун ее возил на своей машине Эд Кросс. В свободные вечера она шила, вязала и слушала радио. Ему, выросшему в Спринг-Вэлли, следовало бы знать, что у такой Анны Фелпс гораздо больше занятий, чем у горожанки, которая живет в своей городской квартире, точно в раковине. У Анны Фелпс было много всяких маленьких дел, и ей недосуг сидеть сложа руки и ждать, когда постоялец сообразит ее.

Первой корреспонденцией, адресованной Янку, был пакет с водительскими правами, и подала ему этот пакет Анна.

— Это вам, — сказала она. — Что же вы даже не посмотрите, кому письма.

— Я ни от кого не жду, — сказал он.

— Ну, теперь будете получать. Во всех почтовых справочниках вас пропечатают. Р. Я. Лукас, Куперстаун-роуд, 215, Ист-Хэммонд, штат Вермонт.

— Раз уж мы об этом заговорили, как вы смотрите на то, чтобы мне остаться у вас? Наше предварительное соглашение было, по-моему, на неделю, а времени с тех пор прошло гораздо больше.

— Как вам угодно, я не против, — сказала она. — Для туристов еще рано, да, может, я вообще сниму объявление на этот сезон. Лишние деньги,

но и работа тоже лишняя. Правда, работы я не боюсь и никогда не боялась. Но у меня других дел много. Если вы проживете здесь все лето, объявление я сниму. Вы почти окупите мои налоги, а у меня больше времени останется.

— Да, вы ведь, кажется, не очень заинтересованы в туристах.

— Я всегда сводила концы с концами и до того, как стала пускать их. Во время войны у меня были очень хорошие постояльцы. Молодежь из авиации. Прилетали, улетали. На втором этаже в задней комнате даже родился ребенок — девочка, и ее назвали Анной, в мою честь. Теперь они живут в Шарлеруа, штат Мичиган. Пишут мне изредка. Да это были, собственно, не туристы. Для многих мой дом стал первым пристанищем в семейной жизни. Я как-нибудь покажу вам альбом с фотографиями молодоженов. Двое летчиков погибли во время войны, и я о них горевала, как о родных. Но после войны народ пошел другой. Те, что приезжают посмотреть Вермонт, мне не нравятся. Я таким не сдаю. Но в Куперстауне я эту публику видела. Женщины ходят босые и в шортах, хотя многим из них лучше бы не выставляться напоказ. Как только я вижу, вылезает из машины молодой человек с гитарой, так сразу же говорю: у меня все занято, — даже если в доме нет ни одного постояльца... Впрочем, к делу это не относится. Значит, вы думаете остаться на все лето?

— Я бы с удовольствием.

— Ну что ж, договорились. Объявление я сниму. Но это не значит, что у меня не найдется комнаты, если вдруг приедет кто-нибудь из моих летчиков с женой и попросится на одну-две ночи.

— Миссис Фелпс, вы никогда не рассказывали мне о своем муже.

— А что вам интересно о нем?

— Все, что вы захотите рассказать.

— Ну... Дэниел Брюстер Фелпс родился здесь, в Ист-Хэммонде, как и все прочие Фелпсы. Здесь же кончил школу. Женился на мне, а в девятьсот восемнадцатом году уехал за море с двадцать шестой дивизией. В августе того же года был ранен и с тех пор ходил с серебряной пластинкой в колене. Вернулся домой в девятьсот девятнадцатом году и пошел работать на карьер. Второго июля двадцать седьмого года, как всегда, собрался на работу. Вот здесь, в этой кухне, я дала ему с собой завтрак и термос с кофе. Правда, стол тогда у меня стоял старый и не было всех этих современных усовершенствований. Он простился со мной, отворил дверь и наткнулся на сетку. Мы еще тогда пошутили. Сам же он поставил ее дня два назад и забыл. Мы посмеялись, вспомнили, что накануне он пил канадский эль в гарнизонном буфете. Тогда был «сухой закон», а гарнизон получал пиво

откуда-то из Канады. Дэн никогда много не пил, но, как только там получали канадское пиво, он этого не пропускал. Я и сама тогда к нему пристрастилась. Но мы, конечно, шутили. Не с похмелья же он был. Просто запомнил про сетку. Ну, ушел он, а часов в одиннадцать утра мне звонят с карьера. Тащил тяжелый отбойный молоток вверх по наклону, сорвался и полетел на самый низ. И расстояние-то было всего семьдесят восемь футов — потом измерили, — но шею он сломал. Одна моя приятельница повезла меня в больницу, но когда мы туда приехали, Дэна уже не было в живых. Умер, не приходя в сознание. Я и тогда думала и до сих пор считаю, что всему виной его увечное колено. С таким коленом нельзя было тащить отбойный молоток по тропинке шириной всего в два фута. Но я никому ничего не сказала. Мне выдали пособие и страховку, а потом я несколько лет учительствовала в школе и вообще без работы не сидела, за дом к тому времени все было выплачено. Потом отец умер, а вскоре и мать. Кое-что мне оставили. Я сначала подумывала, не выйти ли еще раз замуж, но скоро привыкла жить одна. У тех двоих, что сватались ко мне, были маленькие дети, и я не захотела брать на себя такую ответственность. Своих детей у нас с Дэном не было, а в школе я на них насмотрелась. Со своими я бы справилась, а с чужими, от других матерей... Дети так и норовят сесть тебе на шею, и если они твои собственные — это одно дело. А когда чужие — совсем другое.

— Вам никогда не хотелось иметь своих детей?

— От Дэна хотелось. Во всяком случае, я и не пробовала оберегаться. Зато после того, как он погиб, мне не надо было думать о ребенке, когда я искала работу. А то пришлось бы взять кого-нибудь смотреть за ним. Считается, что у женщины должны быть дети, да не каждая их заводит. И у мужчины тоже должны быть дети, но не всегда так бывает. Вот вы, например. Вы, конечно, были женаты, а детей у вас — на доллар спорю — наверняка нет.

— Мы в разводе. Детей нет.

— Дэну хотелось иметь сына — было бы с кем охотиться и вообще. А я что бы с ним делала? На охоту не пойдешь. Избаловала бы его, и стал бы он маменькиным сынком или балбесом, из тех, которые пыжятся доказать, что они не маменькины сынки. Дэн держал бы сына в строгости. Не захотел бы мальчишка охотиться, все равно бы заставил. Дэн любил командовать. Адам — его двоюродный брат — как-то сказал ему: «Дэн, ты это брось, ты уже больше не сержант, а хоть и был бы сержантом, так я-то лейтенант!» И пошла у них перепалка, потому что Адам хоть и был лейтенантом, но на фронт не попал, а Дэн получил одну медаль от

Соединенных Штатов, а другую — от Франции. Да, Дэн Фелпс был крутоват, но только не со мной. Я всегда понимала мужчин лучше, чем женщин. Но жизнь так сложилась, что вот стареешь, а вокруг тебя все больше женщины.

— Есть у меня тайное подозрение, что вы далеко не все о себе рассказали, да и не расскажете.

— Вот оно что! — рассмеялась она. — Ну что ж, как говорится, чего человек не знает, то ему не мешает.

— То, что я знаю, мне тоже не мешает.

— Может быть, но все-таки мой вам совет: держите свои догадки при себе так, как я держу.

— А у вас есть догадки на мой счет? — сказал Янк. — Ну, и о чем же вы догадались? Кроме того, что я был женат.

— Мало ли о чем. Ведь живем-то мы в одном доме. Но на догадки я никогда особенно не полагаюсь.

— Захотите удостовериться в чем-нибудь, пожалуйста, в любое время, только спросите.

— Беда в том, что я не люблю быть в долгу. А вы захотите выменять свои тайны на мои.

— А почему бы и нет? Что вы считаете своим самым дурным поступком?

— На такую мену я не пойду. И вообще я бы и не знала, что назвать своим самым дурным поступком. Может быть, в том, что мне кажется самым дурным, вы вовсе ничего плохого не увидите. У нас с вами разные понятия. Кого я больше всех ненавижу, так это лгунов, хотя самой мне приходилось кое-когда говорить неправду. А ведь себя ненавидеть не станешь.

— Интересно! Я тоже так на это смотрю. Лгунов ненавижу, но когда нужно или когда так удобнее, совру не сморгнув. И смотрите, что у нас получилось: вы признались, что кое-когда лжете, а я при всем желании не смогу вас ненавидеть. Я признался, что лгу, а вы вряд ли меня когда-нибудь возненавидите.

— Слишком глубоко вы забираетесь. Я вытаскивать вас не стану.

— Миссис Фелпс, я уж так глубоко забрался, что мне самому себя не вытащить. Это дело давнее. Но я и не хочу, чтобы меня вытаскивали, никому не дамся — ни вам, ни себе и никому другому.

— В чем-то вы, значит, увязли.

— Да, правильно. Но вы не думайте, что я попал в какую-то историю, в чем-то запутался. Это просто мой жизненный путь — не больше и не

меньше. Даже не жизненный путь. Мое занятие.

— Ваша работа? То, что вы пишете?

— То, что я пишу. То, что я писатель. Это у меня религия. Я человек нерелигиозный. Но как священнику положено относиться к своему сану, так я отношусь к своему писательству.

— Не представляю себе вас священником, правда, я не так уж много их знала. Один был такой славный, пожилой, в Куперстауне. Он умер еще в восемнадцатом году во время эпидемии инфлюэнцы. А другой был мямля, ни рыба ни мясо. Его потом перевели куда-то. Не знаю, какой у них там сейчас. Но ведь вы не католик?

— Нет, нет, Боже избави!

— Я так и думала. Обычно я их сразу могу отличить. Единственное, что меня смущало, — это... Да нет.

— Ну, продолжайте. Что же вы замолчали?

— Вы как будто не очень интересуетесь женщинами.

— Когда слышишь такое от женщины, это серьезный упрек, но если тебя обвинит мужчина, это еще серьезнее. Я женщин люблю, но только если они...

— Договаривайте, договаривайте.

— Ладно. Я не люблю, чтобы мною командовали из постели. Надеюсь, вы оценили мои старания? Мне не хотелось шокировать вас.

— Может, вы слишком с ними мудрите?

— Нет, миссис Фелпс, дело не в этом, а в том, что я не верю в любовь. В любовь вечную, романтическую. Женщины в большинстве случаев тоже в нее не верят, но почему-то от нас они ждут именно этого. Женщины пожирают мужчин, вы со мной согласны?

— В таком случае у них должен быть крепкий желудок. Мужчины уж какие бывают.

— Ах вот как! А с какими женщинами некоторые мужчины вынуждены водиться сплошь да рядом!

— Если ждать только красавиц да красавцев, род человеческий скоро вымрет. Но к счастью, некоторые мужчины любят уродин, а женщины — уродов.

— Да, к счастью. Правда, меня не очень тревожат судьбы рода человеческого. Но мои личные дела были бы плохи, если б я рассчитывал на свою мужскую красоту. Меня звали скелетом и четырехглазым.

— У Дэна Фелпса было что-то лошадиное в лице.

— Но вы были хорошенькая.

— Попадались и получше меня, но на задворках я не сидела. В Ист-

Хэммонде многие мной интересовались. Лучше всего я выглядела лет в тридцать, а потом начала полнеть.

— Ноги у вас красивые.

— Забудьте про мои ноги, мистер Лукас. И про наш разговор тоже забудьте. Как мы его начали, не помню, но что-то уж очень далеко он зашел.

— Да, может быть, — сказал Янк. — Начали мы его, когда я спросил вас про мистера Фелпса.

— Ишь какой вы хитрец! Но подождите, я тоже как-нибудь схитрю, — сказала она. Эта мысль явно понравилась ей.

— Договорились, — сказал Янк.

Шейлу Данем он несколько раз видел на почте, и она его тоже видела. Если с ней что-нибудь начинать, то удобнее на ферме Эттербери, а не здесь, на улице, на глазах у всевидящих жителей Ист-Хэммонда. А что-то следовало предпринять, если не с Шейлой Данем, так с кем-нибудь еще — в этом не оставалось уже никаких сомнений. Он совершенно недвусмысленно соблазнял Анну Фелпс во время их последнего разговора, во всяком случае, дал понять, что ей будет легко соблазнить его. Но то, что может последовать за одной ночью, проведенной с ней в постели, было пока что нежелательно. Из слов Анны Фелпс он заключил, что она знала и других мужчин, кроме Дэна Фелпса, и один из них, несомненно, Эд Кросс. Значит, если совращение произойдет, Эд Кросс — человек прямолинейный — обо всем догадается, и тогда возникнет сложная и даже неприятная ситуация. А Янк не хотел, чтобы у Анны Фелпс были неприятности подобного рода. Он очень хорошо к ней относился. Зачем давать повод ее друзьям пересматривать свое мнение о ней? С Шейлой Данем эти осложнения исключены: от таких, как Шейла Данем, никто нравственности не ждет.

Янку не приходилось иметь дело с девушками из высшего общества. Когда он учился в колледже, немногие, очень немногие из них появлялись в клубах студенческих организаций Дельта Каппа Эпсилон, Альфа Дельта и Пси Ю, все больше в сопровождении папаш, после футбольных матчей. Папаши посылали своих сыновей учиться в Йельский и Принстонский университеты, а общественный престиж колледжа в Спринг-Вэлли шел на убыль. Вследствие этого среди девиц из Питсбурга, Кливленда и Форт-Пенна нечасто попадались заведомо светские: члены ДКЭ и Пси Ю почти никогда не приводили их в клуб Фи Гамма Дельта. И нечего было выдумывать, будто они ничем не отличались от всех прочих. Шейла, падчерица такого богача, как Сеймур Эттербери, выросла совсем в другой

среде, чем, скажем, дочь издателя газеты в Спринг-Вэлли, штат Пенсильвания. Не говоря уже о среде, взрастившей Зену Голлом — последнюю женщину, с которой он был близок.

Янк приехал на своей машине, вернее, на машине Пегги Макинерни, в поместье Эттербери и постучал в дверь конторы Адама Фелпса. Он видел, что Адам Фелпс сидит за столом, но важно было подчеркнуть уважительное к нему отношение.

— Надеюсь, я вам не помешал, — сказал он.

— Входите, входите, ко мне можно без стука, — сказал Адам Фелпс. — Берите стул, садитесь.

— Когда я был здесь в первый раз, вы разрешили мне повторить мой визит.

— Совершенно верно.

— Я все еще не заинтересовался эйрширскими коровами, но вы тогда говорили, что у вас тут есть архивы. Где можно, например, найти сведения о стоимости тракторов в двадцатом году и прочее тому подобное. Я сейчас пишу о тех годах. Веду, так сказать, исследовательскую работу.

— Думаю, мы найдем то, что вам нужно. У меня даже есть подборка старых каталогов со всеми видами сельскохозяйственного оборудования.

— В самом деле? Это мне и нужно. Иллюстрированные?

— В цвете. И с ценами и с подробной спецификацией. Говорите, тысяча девятьсот двадцатый? Это был хороший год. Тогда, после Первой мировой войны, только что начали выпускать новое оборудование. Сейчас покажу.

Целый час Янк делал вид, будто его интересуют бороны и культиваторы, доильные машины и сепараторы, грузовики и тракторы. Адам Фелпс все время говорил, с явным удовольствием рассматривая картинки в каталогах. Потом взглянул на часы.

— Ой-ой! Мне надо в банк, пока там не закрыли, — сказал Фелпс. — Оставайтесь здесь, сколько вам требуется.

— А если я еще раз приеду? Вы не скажете своей секретарше, что разрешили мне просматривать ваши каталоги?

— Пожалуйста, в любое время. Да возьмите их с собой, только с уговором — чтобы вернуть.

— Да что вы, как можно! Это такая ценность.

— Да, они ценные. Некоторые из этих предприятий уже закрылись. Ну, мне надо идти. Я оставлю записку мисс Уилсон. Она сейчас в большом доме, печатает под диктовку хозяина, мистера Эттербери.

Фелпс удалился, а Янк остался сидеть в конторе с каталогом Фордзона

на коленях. Вошел рабочий, положил на стол Фелпса типографски отпечатанный бланк и вышел, не сказав ни слова. Через несколько минут в конторе появилась женщина — это могла быть только миссис Эттербери. Она была в синем кашемировом свитере, синей твидовой юбке, запачканных грязью полуботинках с бахромистыми язычками и с ниткой мелкого жемчуга на шее. Белоснежные волосы на непокрытой голове, чуть взлохмаченные легким ветром, несколько смягчали ее строгий вид. Лет ей было за пятьдесят.

— Здравствуйте, — сказала она. — Неужели я прозевала мистера Фелпса?

Янк встал.

— Он ушел. Минут пятнадцать назад. Торопился в банк до закрытия.

— А я надеялась еще застать его. — Она помахала длинным конвертом с красно-бело-синей каемкой воздушной почты, залепленным марками.

— Давайте я отправлю ваше письмо. Если в этом все дело, — сказал Янк.

Она заколебалась — чуть заметно, но все-таки заколебалась.

— Я поеду мимо почты, и на меня вполне можно положиться. Во всяком случае, в таких делах, — сказал Янк.

— А вы можете пообещать, что не сунете его в карман и не забудете?

— Я возьму его в зубы, — сказал Янк.

— Это не обязательно, но мне нужно, чтобы оно ушло сегодня же. Я миссис Эттербери! По-моему, мы не знакомы.

— Лукас. Я живу в Ист-Хэммонде, снимаю комнату у миссис Фелпс.

— Я так и подумала, — сказала миссис Эттербери. Она внимательно пригляделась к нему.

— Даю вам слово, что в таких мелочах мне можно довериться.

— Я не поэтому на вас уставилась... Простите, — сказала она. — Ваша фамилия Лукас? Правильно?

— Да.

— Значит, вы Янк Лукас?

— Да. Откуда вы меня знаете?

— Я видела несколько ваших фотографий, и мне говорили, что у Анны Фелпс новый жилец по фамилии Лукас, а кроме того, я смотрела вашу пьесу. Как вы очутились в Ист-Хэммонде? До сих пор у нас здесь знаменитостей не бывало, во всяком случае, литературных знаменитостей. Как вы сюда попали?

— По чистой случайности. У меня вышел бензин, и я здесь остановился.

— По-моему, у нас не знают, кто вы. Правда? Я слышала, что у Анны Фелпс живет молодой писатель, но ни слова о том, кто такой. А вы, оказывается, автор пьесы, которая пользуется таким успехом на Бродвее.

— Лукасов на свете много. Когда вы видели мою пьесу?

— С неделю назад, нет, раньше. Да, нас пригласили посмотреть спектакль на другой день после премьеры. Наши друзья, они страшно интересуются театром. Платят за билеты бешеные деньги, но ведь так приятно сказать, что вы видели пьесу, которая гремит. По-моему, ваша страшно интересная.

— Другими словами, она вам не понравилась, — сказал Янк.

— Ну... все зависит от того, как понимать слово «понравилась». Вы, конечно, не собирались развлекать публику в обычном смысле этого слова. Ваша пьеса... вы меня простите... она не возвышает. Но героиня в ней великолепная. Великолепно сыграна, и образ, вероятно, правдивый. Я таких женщин не знаю, так что не мне судить. Я, наверно, не то говорю. Я была знакома только с двумя драматургами. С Филиппом Берри — мы встретились с ним в Хоуб-Саунде, прелестный человек. Ну и, конечно, с Ноэлом Коуардом в Лондоне, еще до войны. А теперь вот вы — и где! На нашей нелепой старой ферме, которую мы просто обожаем. Какой контраст! Самый наш утонченный драматург и Коровий рай, как называет ферму мой муж.

— Контраст не стольжж велик. Я ведь скромный провинциал.

— Ну, это, увы, наверно, уже в прошлом. Какой журнал ни возьмешь, везде о вас пишут.

— Я видел только два: «Тайм» и «Ньюсуик». И в обоих глупости.

— Да, Гарри Люс странный человек. Отрастил себе такие косматые брови и взвалил всю тяжесть мира на свои плечи, — сказала она. — От всего этого вы и убежали сюда? Работаете? Отдыхаете?

— Работаю, — сказал он. — Работа для меня лучший отдых.

— Приезжайте к нам на ленч в воскресенье. Мы будем своей семьей. В час дня. Конечно, если захотите.

— С удовольствием.

— Прекрасно. И вот мое письмо. Вы не забудете его опустить? Женщина, которой оно адресовано... там внутри чек... в отчаянном положении, сидит без денег.

— Это мне знакомо, сам испытал, — сказал Янк.

Миссис Эттербери вышла, и, глядя, как она идет к большому дому, он понял, откуда у ее дочери такая фигура и такая походка.

В воскресенье Янк ничего не сказал Анне Фелпс о приглашении к

Эттербери. Ей не понравится, что его пригласили на ленч, но она не подаст виду, а, узнав, куда он ездил, может быть, даже открыто выскажет неудовольствие, что ей ничего не сказали. Но с этими осложнениями он будет разбираться, когда они возникнут. Он рассчитал свой приезд к Эттербери так, чтобы появиться в пять минут второго. Его встретил лакей и провел на застекленную боковую веранду. Миссис Эттербери и ее муж сидели за газетами.

— Мистер Лукас, — сказал лакей.

— А, вот и вы, — сказала миссис Эттербери, снимая очки. — Познакомьтесь с моим мужем.

Эттербери встал и тоже снял очки. Это был крупный человек с гладко прилизанными, редящими волосами и с довольно большим носом. В рыжеватого цвета куртке с белыми зубчатыми полосками, в рыжеватых спортивных брюках, начищенных до блеска коричневых туфлях и с желто-синим полосатым галстуком.

— Здравствуйте, мистер Лукас. Очень рад, что вы к нам выбрались. Что вы хотите выпить? Мы с женой предпочитаем «Дайкири», и если вы не возражаете...

— «Дайкири» с удовольствием, — сказал Янк.

— Садитесь вот сюда, тут солнце не будет бить вам в глаза, — сказал Эттербери.

Лакей удалился за коктейлями.

— Моя дочь будет позднее. Она с вами не знакома, но видела вас на почте.

— По-моему, я тоже ее видел. Она носит брюки для верховой езды?

— Вернее, бриджи, — сказал Эттербери. — Всегда в них здесь рассказывает. В бриджах или в синих джинсах.

— Сегодня на ней юбка, Сей. Она ходила утром в церковь, не в пример нам с тобой.

— Да. Ну, мистер Лукас, далеко вы заехали от привычных вам мест. И дело даже не в расстоянии, а... гм, в темпе жизни, — сказал Эттербери. — Моя жена говорила, что у вас вышел бензин и вы решили задержаться здесь. Вот и прекрасно.

— Да, я даже получил водительские права в Вермонте.

— Вот как? Это меня обнадеживает, — сказала миссис Эттербери.

— Комплимент со смыслом. Моя жена стала интересоваться политикой, и у нее расчет такой: раз вы получили здесь водительские права, значит, регистрироваться на право голосования будете тоже здесь, и она надеется завербовать вас в демократическую партию.

— В Вермонте?

— Как говорится, надежда вечно питает человека, — сказал Эттербери.

— Я никогда не голосовал, — сказал Янк.

— Никогда? И даже в Спринг-Вэлли, штат Пенсильвания? — сказала миссис Эттербери.

— Вы меня изумляете. Откуда вам известно про Спринг-Вэлли?

— Читала в какой-то статье, а у нас, вернее, у моего мужа, есть там знакомый.

— Попробую догадаться кто, — сказал Янк. — Не Портер Дитсон?

— Он самый, — сказал Эттербери. — Старый хлюст.

— Хлюст? — сказала миссис Эттербери. — Я этого слова не слышала со времени...

— Портеру оно подходит, — сказал Эттербери. — Вы со мной согласны, мистер Лукас?

— Да, пожалуй. Это личность уникальная в Спринг-Вэлли. У нас были и другие хлюсты, но Портер Дитсон — единственный, кто катается на коньках в бриджах для гольфа.

— Да, это в его духе, — сказал Эттербери. — Он один из последышей старой гвардии, и у него, кажется, есть братец, настоящий истукан. Брайс?

— Правильно. Брайс Дитсон. Вы точно его охарактеризовали. Настоящий истукан.

— Такой в демократическую партию не вступит, — сказала миссис Эттербери.

— Портер Дитсон тоже не вступит, — сказал Янк.

— Я очень рад, что он вам нравится, — сказал Эттербери.

— Да, нравится. Я таких больше нигде не встречал.

— И не встретите, разве только поедете в Англию. У нас такие, как Портер Дитсон, редкость. Правда, попадаются кое-где. Но у многих ли хватит силы воли пройти через всю жизнь, устоять? Выдержать напор деловитости без силы воли нельзя. Вы со мной согласны?

— Безусловно. И особенно в таком городе, как Спринг-Вэлли, — сказал Янк.

— Человек палец о палец не ударил, и, по-вашему, в этом сила воли? — сказала миссис Эттербери.

Эттербери и Янк обменялись взглядом.

— Тут важна установка, принцип, — сказал Эттербери.

— Но мистер Лукас...

Вошел лакей с подносом, на котором стояли коктейли.

— Звонила миссис Данем, мэм. Просила передать, что задерживается и чтобы ее не ждали.

— Задерживается? Интересно, на сколько? Не говорила? — сказал Эттербери.

— Нет, сэр.

— И конечно, не доложила, где она? — сказал Эттербери.

— Нет, сэр.

— Минут через десять, Вильям, — сказала миссис Эттербери. Ей не совсем удалось замять неловкость, вызванную раздражением мужа. Досада Эттербери говорила о большем, чем просто неудовольствие из-за того, что Шейла Данем опаздывает. — У нее, наверно, опять аккумулятор сел, — сказала миссис Эттербери.

— И сядет, если оставлять свет в фарах, — сказал Эттербери. — Мистер Лукас, это ваша первая пьеса на Бродвее?

— Да, первая.

— Просто поразительно — первая пьеса и такой успех. Вы, наверно, очень этим довольны.

— Доволен.

— Как же вы можете удержаться — неужели вам не хочется ходить каждый вечер в театр смотреть на эти толпы? — сказала миссис Эттербери.

— Не говоря уж об очередях в кассу, — сказал Эттербери.

— Кое-что я повидал в Бостоне. Но не то мне надо.

— А что вам надо? — сказала миссис Эттербери. — Правда, на такой вопрос ответить очень трудно.

— Не надо мне ни шумихи, ни восторгов, ни ореола. Поэтому я и уехал. Я ушел из театра в день премьеры, после второго акта.

— И исчезли бесследно. Я читала об этом, — сказала миссис Эттербери. — Вот когда требовалась сила воли — уйти, зная, что пьеса пользуется таким успехом.

— Да, в какой-то степени. Но с другой стороны, я проявил полнейшее малодушие. Драматург должен встретить такое не дрогнув, а я побоялся испытать себя. Я убежал.

— И вы работаете здесь, в Ист-Хэммонде? — сказала миссис Эттербери. — Анна Фелпс страшно мила...

— Чертовски мила, — сказал Эттербери.

— Но очутиться совсем в другой обстановке и сразу сесть за машинку! Как это вам удалось? Первую пьесу вы писали в Гринвич-Виллидже...

— В Челси.

— А-а... И пока писали, брались за любую работу. Кинокомпании,

кажется, предлагали вам баснословные деньги, а теперь они даже не знают, где вас найти. Это наша тайна. Но теперь, когда вам не надо искать заработков и вы поселились здесь, в глухом вермонтском поселке, нужно иметь силу воли, чтобы сесть и писать что-то новое.

— Я люблю свою работу.

— Да, видно что так, — сказала она.

— И мистер Эттербери любит свою работу, — сказал Янк.

Эттербери хмыкнул.

— Я фермер-джентльмен, так это именуется. Никто не верит, что тут нужно работать. Я плачу по счетам, только и всего.

— Это неправда, мистер Лукас. Он каждый день встает в половине седьмого, Адам Фелпс приносит ему кофе в термосе...

— Чертовски хороший кофе.

— ...и они вдвоем занимаются делами. Когда он приходит домой к ленчу, у него уже полный рабочий день за плечами. Ведь это так и есть, Сей. Зачем умалять свои заслуги?

— Мне кажется, мистер Эттербери любит свое дело, а что думают другие, не имеет значения, — сказал Янк.

— Разумные речи приятно и слушать, — сказал Эттербери. — Я действительно люблю свою ферму, а вставать в шесть утра до чертиков трудно, но ничего не поделаешь. Настоящий фермер-джентльмен не поднимался бы в такую рань. Настоящий джентльмен-фермер дилетант. А я хозяин молочной фермы и добился того, что она приносит мне кое-какие доходы, в значительной мере благодаря помощи Адама Фелпса.

— Ленч подан, мэм, — сказал лакей.

Минут двенадцать ушло у них на то, чтобы съесть суп из бычьего хвоста, немножко больше на телятину со спаржей по-голландски, не больше пяти минут на салат из зелени и пять минут на клубничный мусс. На сей раз миссис Эттербери с успехом уводила застольную беседу от обсуждения своей дочери, и Эттербери невольно помогал ей в этом, сосредоточившись на еде. Она заставляла говорить гостя, и он охотно шел ей навстречу. Когда они встали из-за стола, Эттербери испустил глубокий вздох.

— Прекрасный ленч, — сказал он. — Вы курите сигары, мистер Лукас?

— Когда меня угощают, — сказал Янк.

— Тогда пойдете покурим.

— Я буду ждать вас на террасе, — сказала миссис Эттербери. — Так что не очень задерживайтесь со своими сигарами.

Эттербери шел первым к себе в кабинет, когда появилась Шейла. Все четверо столкнулись в холле.

— Прошу прощения, что опоздала. Меня пришлось толкать, — сказала она.

— Шейла, познакомься, это мистер Лукас, — сказала ее мать.

— Ясно! Кто же еще? Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал Янк.

— Моя дочь, миссис Данем, — продолжала ее мать.

— Ясно! Кто же еще? — сказал Янк.

— О-о! Мне понравится... этот человек, — сказала Шейла. — Хелло, Сеймур. Я опоздала, прости. Но я вижу, вы и без меня справились.

— Кое-как, с трудом, — сказал Эттербери. — Ты правда была в церкви?

— Да. Ты ведь ее содержишь, и мне захотелось, чтобы твои деньги были потрачены не совсем уж зря.

— Странный повод для посещения церкви, — сказал Эттербери. — И вовсе не я ее содержу. Я жертвую, а содержат ее сами прихожане. Мои пожертвования идут на покрытие дефицита, и уверяю тебя, дефицит у них обычно не так уж велик.

— Публики сегодня было немного, не битком, — сказала Шейла. — Бог идет без аншлага, не как мистер Лукас. Поздравляю. Я вашу пьесу не видела, но непременно посмотрю при первом же удобном случае.

— Будьте, как говорится, моей гостьей.

— Нет. Мой отчим поддерживает всемогущего Господа. А я буду поддерживать вас. Самым пристойным образом, конечно. Кофе вы еще не пили?

— Мы с мистером Лукасом собирались...

— Сигары, — сказала Шейла. — Хорошо. Я выпью кофе с мамой.

— Почему бы нам всем вместе не посидеть на террасе? С открытыми окнами сигарный дым не так чувствуется, — сказала миссис Эттербери.

— Я тоже выкурю сигару, — сказала Шейла.

— Бравада. Ты еще ни одной не докурила.

— Конечно, бравада, — сказала Шейла.

— И вообще, зачем зря добро переводить, — сказал Эттербери.

На террасе из них четверых составила недружная компания, и через несколько минут Эттербери поднялся и сказал:

— Ну, я пойду по коровьим делам. Не вставляйте, мистер Лукас. Очень рад был вас повидать. Приезжайте к нам еще. — Эттербери прошел с террасы в комнаты, а потом они увидели, как он идет по направлению к

коровникам со складным стулом и в высоких ботах поверх туфель. Назад он не оглянулся.

— Опять на меня накакал, — сказала Шейла.

— Шейла!

— Мой язык не может шокировать мистера Лукаса, если верить рецензиям на его пьесу.

— То другое дело. Люди, которые выражаются на таком языке в пьесе мистера Лукаса... это люди, которые на таком языке говорят. Правильно, мистер Лукас?

— Да, правильно, — сказал Янк.

— А вы сами сидите здесь с часу дня и ни разу даже не чертыхнулись, — сказала миссис Эттербери.

— Чертыхнитесь разок-другой, сделайте маме одолжение, — сказала Шейла. — И еще что-нибудь покрепче пустите.

— Я вижу, посещение церкви не очень-то благотворно на тебя повлияло, — сказала ее мать. — И не только в смысле лексикона, но вообще, твой тон, Шейла.

— Я вышла оттуда такая просветленная, благостная, но потом долго искала, кто бы меня подтолкнул, а Сеймур, я знала, сидит и злится. Наконец подъехал Эд Кросс и подтолкнул мою машину. Он считает, что дело не в аккумуляторе. Как только Билли Данем наконец выложит денежки, первое, что я сделаю, — это куплю себе новую машину. У меня будет «Икиска-120» — белая-белая, цвет непорочности. Я почему-то думала, у вас тоже что-нибудь вроде «икиска», мистер Лукас.

— У меня нет своей машины. Эта моего агента.

— Ну, когда будете покупать, не скупитесь. Начните с «феррари».

— Вы понимаете в машинах гораздо больше меня. Я даже не слышал, что есть на свете «феррари», и вряд ли стану покупать что-нибудь такое.

— Не все ведь увлекаются модными машинами! — сказала миссис Эттербери.

— Сеймур увлекался. Я помню, когда вы поженились, у него был «корд» с выхлопными трубами, выведенными из-под капота. А до этого огромная допотопная «лагонда».

— Ты помнишь нашу «лагонду»? Это было, правда, не так уж страшно давно, но в те годы ты еще бегала маленькой девочкой. Правда, машины всегда сводили тебя с ума.

«Вот такие разговоры они и ведут между собой?» — подумал Янк. Так легко, просто.

— А вот «пирс-эрроу» вы вряд ли помните, — сказал он.

— Не помню, но слышала, — сказала Шейла.

— А я прекрасно помню, — сказала миссис Эттербери. — Мой дядя других не признавал.

— В том городке, где я вырос, этих «пирс-эрроу» было больше на душу населения, чем в любом другом месте, — сказал Янк.

— Я знаю, где это. В Гиббсвилле, Пенсильвания, — сказала Шейла. — Один мой знакомый...

— Нет. В Спринг-Вэлли, Пенсильвания. Гиббсвилл в другом конце штата.

— Но мой знакомый говорил, что у них в Гиббсвилле было больше всего этих «пирс-эрроу», — сказала Шейла.

— Значит, он большой враль, и, что бы он вам отныне ни говорил, не верьте ни одному его слову, — сказал Янк.

— Да, он любил приврать, но только не про такие вещи. А может, вы тоже враль — откуда я знаю?

— Шей-ла! — сказала миссис Эттербери.

— А что? Писатели, по-моему, живут в мире, созданном их воображением. Мистер Лукас... хм... враль профессиональный. Ему, может, и не нравится это слово, но он не постеснялся сказать вралю моему знакомому, которого и в глаза не видал.

— Вы противник, достойный моего клинка, — сказал Янк.

— Я? Я вам вовсе не противник. Но вы слишком уж поторопились обозвать моего знакомого вралем, даже если в шутку. Что посеешь, то и пожнешь.

— А вы покорно пожинаете то, что сами посеяли? — сказал Янк.

— Я за нее отвечу. Нет, — сказала миссис Эттербери.

— Откуда ты знаешь, мама? Откуда ты знаешь, что мне приходится пожинать?

— Ну, может быть, и не знаю. Зато знаю, что с гостем надо быть повежливее, а мистер Лукас наш гость, Шейла.

— Тогда представим себе, что мы у него в гостях. Ведь несколько минут назад он сам сказал: «Будьте моей гостьей». Когда предлагал мне билеты на свое представление. Ведь сказал: «Будьте моей гостьей»? Значит, ему ничего не стоит переключиться с гостя на хозяина, с хозяина на гостя. Гость — хозяин, хозяин — гость. Я шокирую маму, но это потому, что она не понимает таких людей, как мы с вами. Что совершенно естественно, поскольку мы не понимаем таких, как она. Впрочем, может, вы понимаете? Писатель, конечно, никогда не признается, что он понимает не всех и не вся.

— Тут вы ошибаетесь, — сказал Янк. — Есть миллионы людей, которых я не понимаю, так как не даю себе труда понять. Но если заняться этим вплотную, то думаю, что пойму любого человека. Вот, например, вас мне понять нетрудно.

— Конечно. Не такая уж я безумно загадочная натура, и мы с вами более или менее одного поколения. Но вам, пожалуй, будет не легко понять маму, и Сеймура, и им подобных.

— Почему? — сказал Янк.

— Видите ли, когда я говорю «им подобных», это касается не только их возраста. Я имею в виду обстановку, в которой они выросли. Про вас я все читала, так что знаю, в какой обстановке вы росли. Часто вам приходилось бывать в таких домах, как наш?

— Конечно, нет.

— Или общаться с такими людьми, как мама и Сеймур Эттербери?

— Нет.

— У вас не было дядюшки, который разъезжал только на «пирс-эрроу»?

— Нет, — сказал Янк.

— Вы сын хороших, порядочных людей, им всегда надо было зарабатывать себе на жизнь. Ваш отец преподавал в каком-то захолустном колледже, я даже не слышала, что такой существует.

— Шейла, ты в самом деле...

— Мама, он понимает, что я куда-то веду этот разговор, — сказала Шейла. — И если ты не будешь мешать, я доберусь куда нужно. Дело вот в чем, мистер Лукас. У моей матери — у этой обаятельной, красивой, прекрасно воспитанной женщины... как, по-вашему, какая у нее была жизнь? Легкая?

— Вы сами мне подсказываете. Должно быть, нелегкая. Но ваша правда, я бы полагал, что жизнь ее баловала.

— Мистер Лукас прав, — сказала миссис Эттербери. — Он же почувствовал, как Сей любит свою работу.

— Ну, это более или менее очевидно. Такой богач, как Сеймур, не жил бы здесь, если бы ему не нравилось то, чем он занят.

— Нравится — не то слово. Любит! Мистер Лукас понял, что Сеймур любит свою работу.

— Миссис Данем, кажется, вспомнила старый спор, будто понять богатых людей могут только богатые.

— Вовсе нет. Лакеи понимают богатых людей. Адам Фелпс понимает Сеймура. А мистер Лукас совершенно сторонний человек. Сеймур никогда

не раскроется перед мистером Лукасом. Он и с Адамом Фелпсом не откровенничает, но их связывает нечто вроде дружбы, основанной на взаимном уважении и многолетней совместной работе.

— Не говоря о том, что Фелпс забил гол в ворота йельской команды, — сказал Янк.

— Иронизируете, но зря. Этим Адам действительно ближе Сеймуру! Вам такой близости не достичь. И все равно Сеймур никогда, никогда не заговорит с ним об интимных, личных делах. Понимаете? Никогда. Он даже не знает, с чего такие разговоры начинаются.

— Они понимают друг друга, и этого достаточно. Зачем требовать между ними еще большей близости? У Адама Фелпса своя жизнь, у Сея — своя, — сказала миссис Эттербери.

— Дело не в этом, мама. Я говорю, что мистер Лукас никогда не поймет таких людей, как ты и Сеймур. Он уверяет, будто ему стоит только захотеть, а я говорю: неправда. Неправда.

— Миссис Данем дает мне урок смирения, — сказал Янк.

— Вам это, наверно, не помешает, — сказала Шейла. — Вы играете в теннис?

— Давно не играл.

— Я тоже. Хотите, сыграем? Туфли и носки у нас есть.

— Спасибо, но рановато после ленча, — сказал Янк.

— Ну, давайте еще чем-нибудь займемся. Надо же вас как-то использовать.

— Шейла, ты еще не ела. Поешь, может быть, пообедеешь, — сказала миссис Эттербери.

— Идея! В Куперстауне есть ресторанчик. Не хотите пригласить меня туда?

— У мистера Лукаса, наверно, есть другие дела.

— Мама, мистер Лукас отлично меня понимает, а я — его. Это не значит, что мы с ним сговорились, просто у тебя на глазах ведется легкий флирт.

— Односторонний, — сказала миссис Эттербери.

— Не совсем, — сказала Шейла.

— У меня нет с собой денег, — сказал Янк.

— В этом доме избегают разговоров на такие темы, — сказала Шейла. — Мы думаем о деньгах, но не вслух. Считается, что моему отчиму неприятны такие разговоры. Это, конечно, неправда, но так принято считать... Впрочем, может, у вас действительно есть другие дела?

— Нет, никаких, — сказал Янк.

— Давайте возьмем большой автомобиль. Мой захромал, а машина вашего агента уж очень непрезентабельна.

Шейла села за руль, она молчала, пока они не выехали на куперстаунское шоссе.

— Хотите — верьте, хотите — нет, а я люблю наше поместье, но иной раз стоит только выехать за ворота, и я просто пьянею. Ужасно, когда человеку нечего делать. Если бы я писала или занималась живописью, мне было бы хорошо здесь.

— Даже в обществе вашего отчима?

— А, бросьте, Лукас. Вы прекрасно знаете, в чем беда.

— Знаю?

— Конечно, знаете. Он любит мою мать. По-настоящему любит. Но хочет переспать со мной. Я бы не прочь. Но тогда дороги сюда мне уже не будет. Пока мы цапаемся, мама знает, что у меня с Сеймуром ничего нет. Но если я пересплю с ним, тогда мне здесь больше не бывать.

— Почему вы зовете его Сеймуром?

— Он сам меня попросил. До того как я стала выезжать, я звала его папой, хотя и стеснялась, потому что мой настоящий отец был еще жив. Он умер, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Он почти все время торчал в вытрезвителях или в сумасшедшем доме. Хорош, наверно, был молодчик, судя по всему, что я о нем слыхала, но мы с ним мало виделись. Потом, когда мне стукнуло восемнадцать, Сеймур предложил, чтобы я звала его по имени, а не папой. До меня не сразу дошло, а он, уверена, и вовсе не сознавал, что с переменой имени меняются и отношения. Он мне больше не отец, и, значит, кровосмесительства не будет.

— Приставал он к вам когда-нибудь?

— Нет, никогда. Только все говорит, что нельзя гулять по ферме в таком облегающем свитере. Мол, мужчины возбуждаются. Ну что ж, он тоже мужчина, и с ним мне так же опасно, как и с рабочими. Да ну, что его слушать! И на почту не буду ходить в балахоне.

— А вас не волнуют мужские взгляды?

— Не очень. Когда один глазеет — да. А когда их много — нет. Мужчины, обуреваемые одной и той же мыслью, — это стадо обезьян, и рожи у них обезьяньи. А как актрисы к этому относятся?

— Примерно так же, как вы.

— Что у вас было с Зеной Голлом? Я читала в театральной хронике, что вы с ней жили. А потом, в день премьеры, вдруг исчезли. Здорово!

— Мне надо было спастись.

— От нее или от всего остального?

— От нее и от всего остального.

— Вот и я тоже спасаюсь. Правда, не как вы, но все же спасаюсь. Я хочу взять пример с мамы. Первый муж у нее был прохвост, она с ним намучилась, а потом вышла за очень, очень порядочного человека, и они счастливы. Вся беда в том, что я ищу такого, как Сеймур Эттербери. Это безумие, да?

— Да, пожалуй, но безумие вполне понятное. Только вы забываете, что ваша мать не искала Эттербери. Он оказался рядом.

— Да.

— Ей не пришлось его разыскивать. И вот еще что: вам хочется быть похожей на мать, но вы не такая и такой никогда не будете. Значит, вы напрашиваетесь на осложнения.

— Вот уж на что мне не приходилось напрашиваться, так это на осложнения. Почему вы развелись с женой?

— Она была дрянь.

— А вы?

— А я был дурак.

— Бывший идеалист называет теперь себя дураком?

— Совершенно верно.

— Вот судьба наших идеалов. Я тоже вышла замуж за свой идеал. Интересный. Замечательное чувство юмора. Общий любимец. Но сволочь.

— Почему?

— Женщины, конечно. Сразу же. Попросту, без затей. «Слушай, моя дорогая Шейла, ты не думай, пожалуйста, что я откажусь от радостей жизни. Я не так устроен». Я тоже не так устроена, а он считал себя каким-то особенным. Я любила молодых людей, но, когда выходила замуж, думала: дай попробую, что получится. А он и пробовать не захотел. Наше свадебное путешествие продолжалось пять недель. На другой же день после возвращения в Нью-Йорк у него было cinq-à-sept^[3] с одной из моих шафериц.

— Что было?

— Эх вы, искушенный драматург! Он днем с ней переспал, — сказала она.

— Ах, это по-французски! Я учил испанский. А когда вы сами начали развлекаться?

— Да вскоре. Поплакала немножко втихомолку. Скорее от злости, чем от другого. Дура я была, по вашему определению. Потом начала крутить, как он, и в один прекрасный день слышу от него, что у меня невозможная репутация и чтобы я вела себя осторожнее — только и всего. Нет, каков

сукин сын! И всыпала же я ему! Поддала коленкой, расцарапала лицо. И знаете, он так и не понял, почему я взбесилась. Вечером мы были приглашены к обеду, а у него пластырь на физиономии, где я его разукрасила. Среди прочих своих достоинств Билл страдал мнительностью, и, когда мы вернулись домой, он всю ночь возился с этой царапиной, делал примочки. На следующее утро не стал бриться и потому не пошел на работу. Весь день висел на телефоне, дозванивался до одного знаменитого кожника, а тот, как на грех, уехал оперировать в Балтимору. Мой любимый муженек полетел туда, черт его знает каким дураком там себя выставил, и после этого мы не виделись полмесяца. Он будто бы лежал в балтиморской больнице, а на самом деле весело проводил время в Мидлборо, штат Виргиния. Что стало мне известно на другой же день после того, как он там появился. Боже! До чего это было глупо. Все глупо — с начала и до конца, и я тоже была глупа. Ненадолго мы опять сошлись, а потом разъехались, и в феврале я сказала ему, что требую развода. Адвокаты сейчас торгуются из-за финансовой стороны дела.

— Зачем она вам, финансовая сторона? Разве у вас мало этого добра?

— Да, мало. Со временем я, конечно, получу наследство. У мамы есть доходы от двух поместий — отцовского и материнского, и когда-нибудь основной капитал перейдет ко мне. Но теперь у меня ничего нет, так что моему дражайшему Данему придется тряхнуть мошной.

— Почему?

— Как почему? Мечь — довод веский. Не самый лучший и не единственный, но веский.

— Детей у вас нет, — сказал Янк.

— Да, малюток не имеется. Когда я его изукрасила, я была беременна, но не знала, кто папочка, и поэтому сделала аборт. Ждать два, три года, пять, десять лет, прежде чем опознаешь отца в ребенке? Не-ет! Одна моя знакомая как раз в такой передрыге. У нее двухлетний сын, у которого все приметы отцовские и двух его приятелей.

— Куда мы катимся?

— Ах, перестаньте, Лукас. Пе-ре-стань-те.

Она остановилась у куперстаунского ресторанчика и, прежде чем выйти из машины, дала Янку бумажку в пять долларов.

— Куда мы катимся? — сказала она. — Если заплачу я, это будет для вас унижительно. Какой-нибудь шофер с грузовика подумает, что вы у меня на содержании.

— Не мое амплуа. Виду меня не тот, — сказал Янк. — Но спасибо.

Она заказала бифштекс с кровью без картофельной соломки и без

капустного салата. Ему — чашку черного кофе. Только чашку черного кофе. Ела она быстро, с аппетитом, и, когда они снова сели в машину, Янк сказал:

— Что у вас было с буфетчиком? Он вас явно знает, но посматривает исподлобья. Мрачный тип.

— Это Расс Тэннер. Работал раньше на ферме. Когда мне было пятнадцать лет, мы с ним водились...

— То есть крутили роман?

— Ничего подобного. Даже до поцелуев не дошло. Как-то сидели мы на заборе, разговаривали, и он меня обнял, а я стала отбиваться. Ему здорово не повезло — нас увидел его отец, он тоже работал на ферме и до сих пор работает. Мистер Тэннер подбежал к нам и отлупил Расса у меня на глазах. Потом прогнал его домой, а дома, наверно, еще ему всыпал. Во всяком случае, Расс с тех пор смотрит на меня волком. Я не стала болтать. Точно у нас с мистером Тэннером договоренность была, что, если он накажет Расса тут же, на месте, мое дело молчать. И я молчала. Так что у меня враг по гроб жизни и друг по гроб жизни — в одной и той же семье. Вернее, два врага. Мать Расса, миссис Тэннер, убеждена, что во всем виновата я. И не разговаривает со мной. Кстати, она приятельница Анны Фелпс, вашей хозяйки, так что вряд ли там будут хорошие отзывы обо мне.

— Куда мы едем теперь?

— Куда мы катимся? Домой. Играть в теннис мне теперь тоже рановато — сразу после еды. Сами решайте, что будем делать.

— Меня пригласили к ленчу. И не предлагали провести у вас день, — сказал Янк. — Да, чтобы не забыть, вот возьмите сдачу.

— Оставьте себе, и за вами долг пять долларов, — сказала Шейла. — И будьте моим гостем до вечера.

— А потом что?

— Что потом? Потом вы вернетесь к миссис Фелпс и вставите меня в свою пьесу.

— В мою пьесу уже никого нельзя вставить. Она и так перенаселена. Впрочем, я буду иметь вас в виду для следующей.

— Не знаю, дождусь ли я этого.

— Два года? Три года? Конечно, дождетесь, — сказал он.

— Два года — это вечность. А через три года я, вероятно, сама уйду в вечность.

— Почему вы так говорите?

— Потому что хватит с меня, — сказала она. — Со мной должно случиться что-то очень хорошее и как можно скорее, иначе на самом деле

хватит. Ты слышишь, Бог? Это угроза. Как будто Боженьке не все равно.

— На что вы жалуетесь? Вам не так уж трудно живется. Недавно вы с гордостью говорили о матери, о мужестве, с каким она перенесла все свои невзгоды. Потом сказали, что хотите быть похожей на нее. А теперь вдруг заскулили и делаете туманные намеки на самоубийство.

— Я ни слова не сказала о самоубийстве.

— Не вывертывайтесь. Угроза самоубийства была. Люди, которые говорят: «Хватит с меня», — тем самым заявляют, что они сдаются, а это значит — конец. На что еще вы могли намекать?

— Я могла намекать, что уйду в монастырь.

— Об этом вы и не думали.

— А о чем же?

— Не знаю, но из ваших слов следует, что вам скучно, да и как тут не заскучать? Вы ведете здоровый образ жизни, накапливаете энергию, а девать вам ее некуда. Единственная для вас возможность — это выстроить в очередь мужчин, которые работают на ферме вашего отчима, и подпускать их к себе одного за другим.

— Адам Фелпс наушничал?

— Нет.

— Врете. Этого он боится. Не сами же вы до такого додумались.

— Ладно. Я соврал, — сказал Янк. — Но он именно этого и боится.

— Смею вас заверить, ничего такого не будет. Это могло бы случиться только в субботу вечером, когда много пьяных. Или же если я сама приду в барак и крикну: «А ну, ребята, налетайте!» Сами понимаете, насколько это вероятно. Так как же вы предлагаете использовать избыток моей энергии? Колка дров? Побелка коровников? В теннис вы со мной играть не хотите, а Сеймуру врачи не позволяют. Заняться, что ли, общественной деятельностью? Что бы вы мне ни посоветовали, я уже обо всем сама думала — в том-то и беда. А времени подумать у меня было больше, чем у вас. — Они подъехали к дому. — Ну как, зайдете?

— Пожалуй, не стоит.

— Хотите, чтобы вас упрашивали?

— Только этого не хватает. Хорошо, зайду.

— Ничего плохого тут нет. Можете остаться к чаю. Это даст вам возможность понаблюдать за Сеймуром и моей матерью. В свете того, что я о них рассказывала. Потом вернетесь в свой пансион и предадитесь глубокомысленным размышлениям о жизни богатых людей. Сами вы никогда так не разбогатеете, и, к какому бы выводу вы ни пришли, тревожиться вам причины нет. Знаете, что мне сейчас подумалось, Лукас?

Сколько бы вам ни принесли ваши пьесы, по сравнению с Сеймуром Эттербери вы все равно будете бедняком.

— Правильно. Хотя по сравнению с тем, что было раньше, я стану колоссально богат. Вот где таится опасность.

— Тогда отдайте ваши деньги мне. Я сумею их потратить. Я к этому привыкла. Меня они не развратят.

— Допустим, я отдам вам свои деньги. А что мне будет взамен?

— Ничего. Ровным счетом ничего. Даже спасибо не ждите. Если вы получите что-нибудь взамен, это вас развратит. Скажите мне спасибо, что вам не надо будет возиться с этими деньгами. Ну как, идет?

— Подумаю.

— И все у нас должно быть чисто, невинно. Если мы хотя бы начнем флирт, это уже докажет, что деньги вас развращают. Понятно?

— Да.

— Так что лучше вам держать свои деньги при себе. Вдруг мы захотим пофлиртовать? Или вы об этом не думали?

— Думал, и более или менее постоянно, с того самого дня, как вы вторглись в контору Адама Фелпса.

— Ах так? Это весьма утешительно. Я что-то и скучать вдруг перестала. У меня есть новое предложение. Вместо чаепития у нас поезжайте сейчас домой и подумайте на досуге, стоит вам связываться со мной или нет. Можете думать до среды, а я тем временем тоже подумаю.

— Почему до среды?

— Наши уезжают на званый обед и заночуют в Манчестере. Меня не пригласили. Обещаю вам, что до среды потерплю и мужчин в бараче развлекать не буду.

— Пообещайте мне еще кое-что.

— Что?

— Обрежьте когти, — сказал Янк.

Она рассмеялась:

— Я же сказала, что вы мне понравитесь. Жду вашего звонка в среду, хорошо?

Так у них началось. Стремительное развитие этой связи не оставляло им времени думать о чем-нибудь другом. Но через несколько недель частые появления Янка и Шейлы вместе и особенно его приезды на ферму Эттербери стали предметом разговоров, темой для обывательских сплетен и поводом для волнений. Жители Ист-Хэммонда, конечно, уже дознались, что молодой человек — постоялец Анны Фелпс — тот самый Янк Лукас, чья пьеса идет на Бродвее, а такое открытие приковало к нему взгляды вне

всякой связи с падчерицей Эттербери. Посмотреть на Лукаса — ничего особенного, а вот недавно в журналах печатали, что он отказался от 150 тысяч долларов за экранизацию своей пьесы до ее постановки в театре и что этот бывший мойщик посуды того и гляди получит 500 тысяч долларов от «Метро-Голдвин» или «Уорнер бразерс». У него вермонтские водительские права, и он говорил кому-то, будто думает поселиться здесь. И так далее и тому подобное. Вытянуть сведения у Адама Фелпса не так-то легко, но именно он познакомил Лукаса с падчерицей Эттербери, и у них сразу дела пошли на лад. Она сейчас разводится с мужем, но этой дамочке все нипочем. Где они встречаются, доподлинно никто не знал; Анна Фелпс таких штучек у себя дома не потерпит, а оба Эттербери — хоть она и выставляет себя демократкой — заядлые консерваторы. Говорили, что Лукас снимает комнату в Куперстауне, а кроме того, ходили слухи, будто он закулисный владелец мотеля, который недавно открылся по ту сторону Джорджтауна. И наконец, говорили, что уж если двое решили сойтись, так сойдутся, а где? Да где угодно, только подстилку подостлать. Вот какие ходили о них разговоры, пересуды и сплетни.

Настоящее смятение чувств не стало достоянием гласности. Оно сквозило в отношениях Сеймура Эттербери и его жены, которые так редко и с такой осторожностью касались в своих разговорах Шейлы и Янка, что достигли того, чего всячески старались избегать, а именно признания серьезности ситуации. Сеймур Эттербери и его жена привыкли быть откровенными друг с другом, а когда откровенность была невозможна, ее заменяли учтивой враждебностью. Поскольку повода для враждебности у них сейчас не было, не было повода и для разговора, который разрядил бы атмосферу, и атмосфера так и оставалась напряженной.

— Как ты думаешь, где они торчат так поздно? — сказал Сеймур.

— Двадцать минут двенадцатого, по-твоему, поздно? — сказала его жена. — Понятия не имею, но полицию звать, пожалуй, рановато.

— Кто собирается звать полицию?

— Наверно, пошли в кино.

— Ты сама этому не веришь, и я не верю.

— Хорошо. Они лежат в постели.

— Вот это я допускаю, — сказал Эттербери. — Но ты очень спокойно к этому относишься.

— Я их не одобряю и не собираюсь одобрять. Но с Шейлой могло быть и хуже, как не раз бывало. Сейчас по крайней мере есть кто-то определенный, пусть хоть ненадолго. А если надолго, то и слава Богу.

— Ты бы хотела, чтобы она вышла замуж за этого человека?

— У Шейлы сейчас такая полоса жизни, что я с радостью выдала бы ее хоть за Эда Кросса. Шейла ничего не делает вполнину, печально, но это так. Если она не влюблена в кого-то одного, так ей подавай сразу нескольких. Я это знаю, увы, слишком хорошо, а знать такое о своей единственной дочери не очень-то приятно. И вообще, давай перестанем обсуждать ее.

— Прекрасно. Заметай мусор под ковер.

— Именно так я и сделаю и тебя попрошу о том же. Мы ничего не добьемся, если будем относиться к ним как к подросткам.

— Ширк под ковер, — сказал Эттербери, и больше они об этом не заговаривали, молчаливо признав, что у Шейлы и Янка роман, который, по всей вероятности, кончится браком.

Участники этого романа таких предположений не строили. Их роман протекал от встречи к встрече. Они виделись то по три раза в день, то ни разу. Шейла открыла для себя, что любовник может изменять ей с людьми, которых на самом деле не существует, что ее соперницей бывает иногда женщина по кличке Нэнси-Хвать, а то какая-то Святоша. Янк не давал ей прочитать свою рукопись до тех пор, пока первый вариант пьесы не будет готов, а это ожидалось не раньше конца сентября — начала октября. Однажды он позвонил ей и услышал, что она уехала в Нью-Йорк.

— Это говорит мистер Лукас. Миссис Данем ничего не просила мне передать?

— Нет, ничего не просила.

Он позвонил на другой день — тот же ответ. Можно было бы попросить к телефону ее мать, но ему не хотелось выказывать свое беспокойство. А беспокойство было: в тот день он уже не мог писать. Его воображение работало деятельно, подсказывая ему различные подробности исчезновения Шейлы. Ни одна из них не подтвердилась. На третий день ближе к вечеру она позвонила ему.

— Откуда ты говоришь? — сказал он.

— Из библиотеки, — сказала она.

— Из какой библиотеки? — сказал он.

— Из нашей, здесь, дома. А ты думал, откуда?

— Ты была в Нью-Йорке, это последнее, что я о тебе слышал. Могла бы предупредить меня, что уезжаешь.

— Я тебе все расскажу при встрече. Минут через пятнадцать, если ты свободен. Ну как, можешь?

— Нет. Я должен судить футбольный матч. На пикнике методистской церкви играют команды женатиков и холостяков.

— А за кого ты болеешь? Я буду через пятнадцать минут.

Она примчалась в большом автомобиле Эттербери, и они сразу же уехали.

— Куда мы едем? — сказала она. — Давай туда, где мы с тобой будем наедине. Люблю это выражение. Туда, где мы будем наедине. Я хочу быть с тобой наедине. Звучит похабно — быть с кем-то наедине. А ты хочешь быть со мной наедине?

— Не знаю. Мне надо выяснить, зачем ты ездила в Нью-Йорк.

— Я там ни с кем не была наедине, если тебя это грызет.

— Да, грызет, — сказал он.

— А вообще я хочу, чтобы ты меня поцеловал и признался, что соскучился обо мне. А наедине мы будем позднее. Может, даже сегодня вечером, и уж так будем наедине, что... Давай остановимся и покурим.

Он поцеловал ее.

— Поцелуй братский, — сказала она.

— Ты же не хочешь быть наедине.

— Да, правильно. — Она закурила сигарету, сделала глубокую затяжку и, передвинувшись в угол сиденья, стала медленно выпускать дым. — Итак, зачем я ездила в Нью-Йорк? И почему ничего тебе не сказала? Я хотела посмотреть твою пьесу и чтобы ты ничего не знал, потому что, если бы она мне не понравилась, если бы она показалась мне отвратительной, я могла бы притворяться, что и близко не подходила к театру. Но я посмотрела ее, и, по-моему, она великолепна. Во всяком случае, это самая замечательная пьеса из всех, какие я видела.

— Очень тонко и весьма рассудительно. И не потому, что моя пьеса тебе понравилась, а уж очень здорово ты все провернула.

— В конце концов ты бы узнал, что я ее видела и она мне не понравилась. Но тогда это было бы уже не важно. На рецензии я плюю. Критики так часто вводили меня в заблуждение, что я им больше не верю. По правде сказать, если бы мы с тобой не познакомились, я бы не спешила посмотреть твою пьесу. Может, и вовсе ее пропустила бы. Я ведь из тех, кто не в восторге от Микки-Мауса. По-моему, это тоска зеленая. Но здесь на первом месте был ты — сначала ты, потом твоя пьеса. И чем больше места ты занимал в моей жизни, тем важнее мне было посмотреть твою пьесу — и чтобы она мне понравилась. А если бы не понравилась — не понравилась твоя работа, которая для тебя превыше всего, — у нас с тобой дело бы дальше не пошло. Дальше дружбы, сдобренной сексом. Ну вот, я видела твою пьесу, я ее полюбила, и, если ты захочешь, я тебя тоже полюблю. Теперь ты мне стал понятнее.

— Не надо меня любить, Шейла, — сказал он. — Я не смогу ответить тебе тем же.

— Да, верю — после того как повидала твою пьесу. Ты так честно, так непредвзято рисуешь своих героев! У тебя, должно быть, нет никаких пристрастий. А если у человека нет пристрастий, он не может любить. Ведь любовь — это одно из пристрастий, самых сильных. Вернее, самое сильное. Любишь и в то же время ненавидишь, так что я прекрасно понимаю, почему ты не способен любить. Но я, к счастью, полна пристрастий и поэтому могу любить тебя и люблю. Я все думаю, может, нам пожениться? Что я еще делала в Нью-Йорке? Побывала у разных адвокатов. Мой дражайший Данем хочет, чтобы я поехала в Рено. У него новая девочка, на которой он — представь себе! — хочет жениться, и из-за денег и прочего теперь задержки не будет. Мой адвокат думает, что эта цыпочка, наверно, забеременела и они хотят оставить ребенка, так что вопрос времени очень важен, хотя какое это имеет значение в нашем кругу, не понимаю. И вот мне надо сделать тебе еще одно сообщение, а я даже маме ничего не говорила. Через две недели я уезжаю в Рено.

— Много у тебя сегодня новостей, — сказал он.

— Меня просто распирает, правда? — сказала она. — А когда я говорила с адвокатом, мне знаешь что пришло в голову? Почему бы тебе не поехать со мной в Рено?

— Да особых причин нет, только мне не очень хочется уезжать отсюда.

— Ты же знаешь, я пробуду там шесть недель, — сказала она. — А мы с тобой и шести недель не знакомы. Я боюсь, мало ли что может случиться за эти шесть недель.

— Но выйти за меня замуж не боишься.

— Я как раз думала, заговоришь ты об этом или постарайся замять, — сказала она. — Да, у нас с тобой так все наладилось, что выйти за тебя замуж я не боюсь. Но говорят, шесть недель в Рено покажутся нескончаемыми. А работать там ты не смог бы?

— Я могу работать где угодно, но здесь у меня так хорошо все идет, что не хочется прерывать. Сдругой стороны, если ты уедешь, работа сама собой прервется. Тебе непременно надо уезжать через две недели?

— Да. Мой муженек человек нетерпеливый, и, увы, не только в этом вопросе.

— А почему он сам не поедет в Рено?

— Так не принято. Всегда ездят жены. И кроме того, он может сказать, что его держит работа, и будет прав, а мне делать нечего. Я уеду, а ты останешься здесь. Как-то у нас с тобой все сложится? — сказала она. —

Эта мысль не дает мне покоя, я ревную. До того как я посмотрела твою пьесу, я бы не ревновала, во всяком случае, не так сильно. Но теперь счет будет вестись с того самого дня, как я ее видела.

— Ты, конечно, имеешь в виду секс. А если мне приехать туда через три недели, мы побудем с тобой наедине дня два-три, а потом я вернусь?

— Я гораздо дольше без этого обходилась. Здесь жила совсем невинно, здесь всегда так. Но про тебя — не знаю. Недели через две ты, пожалуй, сойдешься с кем попало. Правда, вряд ли с Анной Фелпс.

— Напрасно ты в этом уверена.

— Я ни в чем не уверена. Если уж на то пошло, так мне не хочется оставлять тебя на шесть недель вдвоем с мамой. Между вами что-то происходит, больше с маминой стороны, чем с твоей, но фигура у нее до сих пор прекрасная. Я бы, может, и не возражала, чтобы, так сказать, удержать тебя в нашей семье.

— Фигура у нее действительно очень хорошая.

— Мне не нравится тон, каким это сказано. Нет, от мамы держись подальше. У нее есть что терять. Они с Сеймуром чересчур уж вежливы друг с другом, а это значит, что супружеская жизнь у них сейчас разладилась. А она влюбчивая. Она влюбчивая! Ох, я не знаю, что делать. Пожалуй, правда, приезжай в Рено через три недели. Ты раньше обходился без этого так долго?

— С тех пор как женился, нет.

— Ты приехал в Ист-Хэммонд, наверно, вконец истрепавшись. Я с особенным интересом разглядывала Зену Голлом. Вряд ли такая способна ждать три недели. И по-моему, она и не дожидалась.

— А зачем ей ждать?

— Она и этот герой-любовник, Обри Скотт...

— Скотт Обри.

— Не важно. Третьего дня, когда я смотрела твою пьесу, клянусь тебе, у них все было налажено, хотя, может, я и ошибаюсь.

— А может, и не ошибаешься, — сказал Янк.

— И тебе все равно?

— Да. Поверить в это трудно, но если ты не согласишься, тебе будет еще труднее.

— Почему?

— Если ты не веришь, что Зена мне безразлична, значит, ты не понимаешь меня. А если ты не понимаешь меня, тогда тебе будет плохо: ждать чего-то большего от наших отношений не надо. Не жди слишком многого, Шейла. Я, по-видимому, очень странный человек. Вроде тех

феноменов, у кого, скажем, зубы растут в три ряда или что-нибудь в этом роде. Чего-то во мне не хватает, чего-то слишком много. Я не знаю, что именно меня влечет к одним женщинам, что отталкивает в других. Ты говоришь, что не любишь Микки-Мауса. Я тоже не все люблю, что полагается. Привлекательных женщин для меня больше, чем отталкивающих, и все-таки я часто прохожу мимо безусловно хорошеньких, с прекрасными формами. Эта девица на почте — Хелен Макдауэлл. Красотка и готова на все, а мне она не интересна. Я бы гораздо охотнее завел роман с твоей матерью, хотя она по меньшей мере в два раза старше.

— Все, что ты говоришь, и ко мне относится. Я тоже не всегда реагирую на испытанные стимулы.

— Мне ли этого не знать! Ведь моя персона не обладает ни одним из испытанных стимулов. Я, как говорится, неказист.

— Да, может быть. Но у тебя есть зловредное умение — въедаться в женское нутро. В мое ты, во всяком случае, въелся.

— Только не жди слишком многого.

— Меня предостерегать бесполезно. Я всего от тебя буду ждать.

— В том числе и женитьбы?

— Да, и женитьбы. Ты, может, твердо решил не жениться на мне, но я не перестану этого хотеть, и, может быть, тем дело и кончится.

— Потом пожалеешь.

— Ну и пусть пожалею. Но уж лучше жалеть, что я вышла за тебя, чем что не вышла.

— Ты, конечно, понимаешь, что, если бы мы с тобой провели остаток нашей жизни в Ист-Хэммонде, штат Вермонт, замужество было бы для тебя делом простым и приятным.

— Тогда почему же...

— Но хотя мне в Ист-Хэммонде и хорошо сейчас, я здесь не обоснуюсь, в один прекрасный день уеду и никогда больше не вернусь сюда.

— Почему?

— Потому что, как только я закончу эту пьесу, мне надо будет уехать куда-нибудь в другое место. Ист-Хэммонд и ты — вы входите в создание моей новой пьесы. Как Нью-Йорк входил в создание той, другой. Когда мною завладеет следующая, мне понадобится новое окружение.

— И новая женщина.

— Да.

— Итак, я всего-навсего часть той пьесы, которую ты пишешь сейчас?

— Да.

— И никакого значения не имеет то, что я люблю тебя? А я тебя люблю.

— Нет, имеет значение. Но я не хочу тебе лгать: это не имеет того значения, какого тебе хочется.

— Если я сию же минуту отвезу тебя домой и мы никогда больше не увидимся, сможешь ты дописать свою пьесу?

— Допишу. Времени на это уйдет больше, но допишу.

— Тогда я, пожалуй, так и сделаю, — сказала она.

— И мы не побудем наедине?

— Нет, — сказала она. — Придется тебе побороть свою неприязнь к Хелен Макдауэлл. К моему величайшему сожалению, ты не поспеешь на почту до закрытия.

— Это будет не Хелен Макдауэлл.

— И не моя мать.

— Может быть, и она. Раз ты отпускаешь меня на свободу, командовать мною тебе уже не придется.

— Одно только мое слово, один тончайший намек Сеймуру — и у вас ничего не выйдет.

— Меня твоя угроза не пугает, Шейла. Я волен завести роман с твоей матерью в любое время, когда захочу. А предостерегать мистера Эттербери нельзя ни в коем случае. Если ты это сделаешь, то разрушишь их семейное счастье. А чего ради? Мне назло. У меня может быть короткая связь с твоей матерью, и никто ничего не узнает, если ты не пойдешь докладывать Эттербери. Я допишу свою пьесу и уеду и больше сюда не вернусь, а у твоей матери останется маленькая тайна, последняя ее шалость. Но если ты науськаешь на нас страшного пса, никаких тайн у нее не будет.

— Пока что все верно. Но ты смотришь на дело под одним углом. У меня есть еще другой козырь в запасе.

— Да? Какой же?

— Говорить тебе или нет?.. Ладно, слушай. Что, если я пойду прямо к матери и скажу ей, что ты собираешься сделать ее на время своей любовницей? Думаешь, тебе удастся занять хотя бы первую позицию? Друг мой, не знаешь ты моей матушки. Она такого холода натебя напустит, что ты до весны не оттаешь.

Янк улыбнулся.

— Ты права, права, — сказал он. — Об этом я не подумал, но ты, конечно, права. Так что держись, Хелен Макдауэлл, я иду!

— Она тебе не понравится. Об этом мы с Зеной Голлом позаботились.

— Увы! И тут ты права.

— Каждый раз как ты появишься на почте, тебе на шею будут набрасывать удавку. Пройдет неделя, и не найдется в Ист-Хэммонде человека, который не догадается, что ты ее дружок. Не она твоя подружка, а вы ее дружок. Представляю себе, как Хелен будет действовать. И тебя тоже вижу. Теперь всем известно, кто ты, и за каждым твоим шагом пойдет слезка, и за каждым ее шагом. «Похоже, наша Хелен опутала этого Лукаса. От нее ему не уйти!» Понравится тебе, если каждый янки в Ист-Хэммонде будет так думать?

— О нас с тобой тоже так думают.

— Да, но я не из их числа, а Хелен — своя. Хелен до некоторой степени здешняя приманка для туристов. В Ист-Хэммонде знаешь как гордятся своей Хелен. Она шагу не ступит, чтобы люди не прикинули, живет она с кем-то или еще за нос водит. Но когда этот богатый писатель будет заходить на почту, не беспокойтесь, Хелен не покроет своих дел тайной. У него с ней роман, и она нипочем не даст ему отвертеться, кому другому, только не ему.

— Ишь, как ты все это разрисовала.

— Стараюсь изо всех сил. Не могу же я признаться человеку в любви и чтобы через несколько минут после этого он выставил себя дураком.

— Так что же ты предлагаешь?

— Я предлагаю заехать за тобой в половине десятого и поедем в мотель.

— Да, это, пожалуй, будет самое разумное, — сказал он.

Местом их встреч был новый мотель за Джорджтауном. Они придумали нехитрую уловку, которая заключалась в том, что большой автомобиль Эттербери или свою машину Шейла оставляла недалеко от дома Анны Фелпс и уезжала с Янком на машине Пег Макинерни. По договоренности с хозяином — он был из Нью-Йорка — Янк внес плату за месяц вперед, чтобы не регистрироваться каждый раз, когда они занимали домик в мотеле. В регистрационной книге было записано: «П. Макинерни из Нью-Йорка, номер машины 8В-855-493». Пег не будет возражать, а возразит — ну и пусть. Следующие две недели Шейла и Янк бывали в мотеле каждый день. Ее предстоящий отъезд лишил их свидания прежней непосредственности, и, по мере того как разлука близилась, эти встречи становились все безнадежнее. Шейла не заговаривала о его приезде в Рено, он тоже молчал. Вопрос о браке был еще более запретной темой. В последнюю их встречу в мотеле он сказал:

— Странно, что мы с тобой так и не выяснили, собираешься ты

вернуться в Ист-Хэммонд или нет.

— Что же тут странного? — сказала она.

— Странно, потому что обычно мы делимся своими мыслями.

— За последнее время — нет. Много есть такого, о чем мы не говорим.

В сущности, обо всем, что касается будущего. Ты даже не хочешь заглянуть на три недели вперед. Ну как? Приедешь в Рено?

— Не знаю.

— Вот видишь? — сказала она. — И я тоже не уверена, что вернусь сюда. Дом держат открытым круглый год, но я уже около года здесь, и мы начинаем действовать друг другу на нервы. Они спросили меня, где я буду после Рено, значит, у них это тоже на уме. Раз спрашивают, значит, не очень-то хотят, чтобы я обосновалась здесь навсегда.

— Что же ты им ответила?

— Ну, если хочешь знать, я сказала... — она помолчала минуту, — нет.

— Не вернешься?

— Они очень терпеливы, но по временам им со мною бывает трудно. Им хочется остаться вдвоем. Они в таком возрасте, когда другие люди не нужны. А если я в доме и Сеймур старается вести себя как ни в чем не бывало... А, к черту! Не вернусь я сюда.

— Куда же ты поедешь?

— По правде говоря, меня не прельщает сумасшедшая жизнь в Нью-Йорке. Но там будут все мои друзья, а осенью жить в Нью-Йорке забавно. Новые постановки, интересные вечера. Осень в Нью-Йорке — это скорее весна, если не считать погоды. После Рождества все оттуда выкатываются, и может, я сниму дом в Нассау или где-нибудь еще.

— Ты свое будущее как следует обдумала.

— Что ж, пришлось. Ты не захотел обдумать, значит, мне надо было этим заняться.

— А если я приеду в Рено?

— Если ты собираешься приехать, скажи мне об этом сейчас или хотя бы перед моим отъездом.

— Почему?

— Потому что, уехав из Ист-Хэммонда, я уже не буду твоей. Мне было приятно с тобой, но теперь надо привыкать к кому-нибудь другому. И чтобы с этим другим тоже было приятно. Я все-таки человек, со мной нельзя так обращаться. Я не взваливаю всю вину на тебя. Все мы эгоисты. Но теперь мне надо стать по-настоящему эгоисткой, чтобы не превратиться в ужасную зануду, которая сама себя жалеет и ждет, когда мужчина швырнет ей косточку.

— Значит, ты решила завести новый роман?

— Да, с первым, кто мне приглянется. Вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Не вижу такой возможности. Но мне надо кем-то отгородиться от тебя, а со следующим делом, может быть, пойдет на лад. Это не угроза — тебе не хочу угрожать. Но почему бы не признаться, что у меня есть кандидат на первый опыт. Он живет в Сан-Франциско и уже спрашивал в письме, правда ли, что я буду в Рено?

— Вот так в светском обществе дают отставку любовникам?

— Это, собственно, не отставка. Ну ладно. Это декларация независимости. Отречение. Прокламация эмансипации. Да как бы ни называлось. С таким же успехом можно назвать это криком о помощи. Брось мне спасательный пояс.

— Значит, мы последний раз вместе? — сказал он.

— Последний раз вместе у нас уже был.

Она прыгнула на пол с другого края кровати, не с того, где он сидел, и пошла под душ. Вскоре он тоже пришел туда. Он подал ей полотенце.

— Будь добр, оденься, — сказала она. — Мне надо укладываться, времени осталось мало.

— Ты уже в дороге?

— Да, я уже в дороге.

— Спешешь в Сан-Франциско, к своему другу? Она остановилась, надевая бюстгальтер.

— А это уж не твое дело, — сказала она.

На другое утро, когда он знал, что ее уже нет здесь, природа дала ненужно яркое освещение для мертвой пустоты Ист-Хэммонда. Стоял теплый, ясный сентябрьский день, и люди ходили по улицам налегке, с непокрытыми головами, щурясь на солнце и раздвигая губы в улыбке, лишенной веселья. Он записал себе для памяти, что во второй картине второго акта, в сцене убийства, во избежание штампа не следует давать затемнение.

III

И вот опять, в третий или четвертый раз Янк Лукас жил так, как ему хотелось жить, — один на один со своей работой. Удивляясь самому себе, он переключился на прежний лад без всякого труда. У него было два более или менее правдоподобных объяснения, почему ему с такой быстротой и легкостью удалось снова сесть за пьесу. Он было ждал и готовил себя к тому, что физическое отсутствие Шейлы Данем вызовет в нем смятение. Но прошла неделя-другая, залитая солнцем тоска по ней исчезла, и он совсем не замечал ее отсутствия.

Ему трудно было объяснить себе, почему так легко, он восстановил свою независимость, но это подтверждалось его душевным состоянием, душевным настроением. Чем ни объясняй, а он мог жить без нее.

Ответ на *почему* таился где-то глубоко внутри, среди атомов, клеток и кровяных шариков, составляющих Янка Лукаса — существо, чем-то загадочное и для него самого и для всех других людей. Окулист мог бы сказать ему, почему он страдает близорукостью, генетику, вероятно, удалось бы определить причину его худобы. Но в конечном-то счете кто скажет, почему он — Янк Лукас, почему или как он стал Янком Лукасом, и всех знаний в мире, всей научной информации не хватит на то, чтобы объяснить вещи более сложные, чем сера у него в ушах. Он гордился своим инстинктивным пониманием человеческого поведения, мотивировки человеческих поступков, но у него хватало скромности остановиться в нужный момент: он останавливался, когда уже не мог переселиться в души своих ближних и чувствовать и видеть все, как видят и чувствуют они. За этим пределом художник погибал, у него прерывалось дыхание. (За этим пределом даже философы и богословы теряют почву под ногами и задыхаются.) Лучшие объяснения чаще всего самые простые, самые простые — самые лучшие. Через миллиарды лет, быть может, выяснится, что Бог — это лишенный телесной оболочки человек с длинной седой бородой. А быть может, и Янк Лукас! Но сейчас, не обладая ни божественным всеведением, ни божественным всемогуществом, ни божественной вездесущностью, Янк Лукас довольствовался земными объяснениями своих земных дел: он может обходиться без Шейлы Данем, потому что у него пропала потребность в ней и потому что он ушел с головой в свою пьесу.

В той мере, в какой это вообще возможно, пьеса писалась сама собой.

Действующие лица — кто набирал жиру, кто худел, и говорили они то, что следовало, и когда следовало, и как следовало. «Теперь моя очередь, Лукас», — заявлял кто-нибудь из его героев и выступал на первый план. У Янка Лукаса бывали счастливые минуты, когда он чувствовал себя медиумом, который действует по воле своих созданий. Таким образом, пьеса писалась через его посредство, а когда герои скажут: конец, — тогда она и кончится. Он надеялся, он хотел, чтобы так все и было, но знал, что так не бывает: ему, творцу своего создания, придется все же вмешиваться, полагаясь на инстинкт, на мастерство и совесть художника.

— Я думала, вы будете хандрить после отъезда одной особы, — сказала Анна Фелпс.

— Вот вы, оказывается, что думал и, миссис Фелпс! — сказал Янк.

— Да, так я думала, мистер Лукас!

— Ну и как, довольны, что я не хандрю? — сказал Янк.

— Конечно, так приятнее. Если человек чуть побрюзжит до завтрака, это еще ничего. Но когда и на следующий день не было покоя от воркотни, моя мать давала отцу касторки.

— И всегда помогало?

— Еще как! Убила она его этой касторкой, — сказала Анна Фелпс.

— Убила?

— День брюзжит, второй, а на третий она говорит ему: «Вот, прими». Для вкуса добавила в касторку немножко кленового сиропа. Он выпил и в тот же день умер.

— Что вы хотите сказать? Что, кроме сиропа, она туда еще чего-то подлила?

Анна Фелпс отставила утюг в сторону.

— Нет, — сказала она. — У него был аппендицит. Прорвалось, а гной залил всю брюшину. Ей доктор Уэллс так ничего и не сказал, а мне сказал, что всему виной касторка. Это было давно, когда в аппендиците плохо разбирались. С тех пор я прячу касторку, будто это парижская зелень. Бывает, туристы спрашивают, нет ли у меня чего-нибудь от расстройства желудка. Чаще для детей. Я говорю: «Ничего нет». Злейшего врага касторки, чем я, во всем Вермонте не найти.

— Это хорошо, — сказал Янк.

— Но если вам вдруг понадобится, она у меня есть. Вы-то, надо думать, разберетесь, аппендицит у вас или нет.

— Мне аппендикс вырезали еще в детстве.

— А меня доктор Уэллс оперировал в восемнадцать. Некоторые девушки откладывали операции и лечение зубов до замужества. Чтобы муж

за все платил. Но моя мать таких штучек не признавала. Когда я вышла за мистера Фелпса, у меня ни одной дырки в зубах не было.

— И аппендикса в животе.

— Хм. — Она улыбнулась. — Поговорим о чем-нибудь другом. Работа у вас, слышу, идет всюю.

— Миссис Фелпс, если вам это мешает...

— Мешает, так я бы сказала. Я не о ночи говорю, вы днем работаете. А теперь, наверно, и днем и ночью будете стучать.

— Сейчас у меня хорошо идет.

Она снова отставила утюг.

— Хочу попросить вас об одном одолжении. Если откажете, я в претензии не буду.

— Могу ли я отказать вам?

— Ну-ну, не заигрывайте со мной. Вечно у вас двойной смысл там, где это совсем ни к чему.

— О какой же любезности речь, миссис Фелпс?

— Да у меня племянник — студент колледжа в Берлингтоне. В июне кончает. Он узнал, что вы здесь живете, и хочет взять у вас интервью. Он там участвует в студенческой газете.

— И вы сочтете это одолжением с моей стороны?

— Да, конечно. В детстве у него был полиомиелит, и передвигаться ему трудно. Он сын моей сестры — гордость семьи. Его придется доставить сюда на машине, но это для них не задача. Он просит, чтобы вы уделите ему час времени.

— Ну что ж. Устраивайте встречу, только уговор — не больше часу. Я сам когда-то работал газетным корреспондентом, и часа вполне достаточно.

— Его зовут Чарлз Палмер, — сказала Анна Фелпс. — Очень буду вам признательна. Мне всегда хотелось ему помочь, да все как-то не выходило.

На следующий день, незадолго до назначенного времени, у дома миссис Фелпс остановился «форд» с четырьмя дверцами. За рулем сидела молоденькая девушка; она вышла из машины, открыла заднюю дверцу, вытащила оттуда складное кресло на колесиках и поставила его. Палмер с привычной сноровкой пересел из машины прямо в кресло, и девушка повезла его в гостиную на нижнем этаже.

Анна Фелпс представила Янку Палмера и его спутницу мисс Томпсон и подала на стол печенье и виноградный сок.

— Я приду в пять часов, минута в минуту, — сказала она племяннику и вышла.

Палмер не успел еще рта открыть, как Янк почувствовал к нему

антипатию. Он пристроил на лице улыбку — полную противоположность улыбке неунывающего калеки, которой ожидал Янк. Так мог улыбаться только чрезвычайно самоуверенный университетский божок.

— Бесси — мой транспорт, — сказал Палмер. — Она всюду меня доставляет.

— Вам повезло, — сказал Янк.

— А она с удовольствием это делает. Я брал ее в Монтпильер на встречу с губернатором. Интервью получилось очень интересное. Не знаю, тетя Анна показывала его вам или нет?

— Нет, не показывала.

— Я послал ей вырезку, чтобы вы посмотрели, как это у меня выходит. По-моему, губернатор был не очень доволен, но ведь политикам подавай рекламу.

— Кое с кем из политиков я встречался. Сам работал в газете.

— Да, знаю. Вас уволили, и теперь вы, наверно, благословляете судьбу.

— Никто меня не увольнял. Я сам ушел.

— А в «Таймс» сказано, что уволили.

— Репортер «Тайма» из Спринг-Вэлли, штат Пенсильвания, знает, что им по вкусу, — сказал Янк.

— Д-да, мистер Лукас. А я ведь тоже пишу для «Тайма» из Берлингтона.

— Тогда и вы должны знать, что им по вкусу. Кстати, это интервью уж не для «Тайма» ли? Ваша тетушка ничего не говорила мне про «Тайм». По-моему, это надо выяснить с самого начала. Не позвать ли нам сюда миссис Фелпс?

— А если для «Тайма», вы откажетесь дать интервью?

— Безусловно, откажусь. И даже в отсутствие миссис Фелпс. Мисс Томпсон слышала, что я сказал. Миссис Фелпс незачем слушать все интервью, но было бы неплохо, если бы вы подтвердили при ней, что это не для «Тайма».

— В тяжелое положение вы меня ставите, — сказал Палмер.

— Да ведь я совершенно случайно узнал, зачем вы, собственно, сюда явились.

— Не знаю, как с вами быть. Трудный вы человек.

— Да нет. Просто не круглый дурак.

— Ну допустим, я напишу, а «Тайм» подцепит мой очерк?

— Кого вы за нос водите? Это интервью доставят им с нарочным, воздушной почтой, и обратный адрес будет ваш, мистер Палмер.

В глазах Палмера тускло блеснула ненависть, нижняя губа у него

отвисла. Он задышал так, что это стало слышно. Он возненавидел даже Бесси Томпсон за то, что она здесь присутствует.

Янк встал.

— У нас с вами явно ничего не получится, Палмер. Что ж, воспользуйтесь приездом, побудьте с теткой.

— Я поговорю с ней, — сказал Палмер. — Бесси, посиди здесь. — Он круто развернул свое кресло и поехал на кухню.

Янк взглянул на девушку, она улыбалась.

— Молодец, — сказала она.

— Правда?

— Мне полагается молчать. Мое дело сторона. Но знаете, по дороге сюда он все обдумал. По-моему, это нечестно.

— А почему вам надо молчать? У вас что, роман с ним?

— Нет. Он женщин не любит. Я за плату. А эта поездка за счет «Тайма». И в Монпильер мы тоже так съездили.

— Вы шофер такси?

— Нет, я студентка. Когда есть время, разъезжаю с ним. Ему легко влезать и вылезать из моей машины.

— Вы хорошенькая.

Она пожала плечами.

— Что ж, это помогает. Штрафуют не так часто.

— А он чудовище, — сказал Янк.

— Да нет, он не такой уж плохой. Только играет на своем увечье. Но разве можно его осуждать за это?

— Можно, — сказал Янк.

— Да, пожалуй, можно.

— А что, если я предложу вам встретиться?

— У меня есть постоянный.

— А если разок встретиться со мной — с непостоянным?

— Не знаю, — сказала она. И коснулась пальцем груди. — Я ношу его значок.

— Сигма Нью. Я заметил это, когда вы вошли. Не сразу, но тем не менее заметил. Мой взгляд был направлен именно туда.

— Еще бы! — сказала она.

— Ну, так как? Удостоится бывший Фи Гамма Дельта свидания с вами?

— Да не знаю. Потерять могу много, а выиграть — шиш. И даже не смогу похвалиться, что знакома с вами.

— Что касается меня, то можете.

— Что касается вас! Для вас-то я буду просто очередной девчонкой. А куда мы поедем?

— Да, это проблема, но она каждый раз как-то разрешается.

— И когда? Мой жених не возражает, что я вожу Чарлза Палмера. Но стоит только мне посмотреть на кого-нибудь другого — беда. — Она встала, взяла кувшин с виноградным соком, налила себе четверть стакана, повернулась и обняла Янка. Он поцеловал ее.

— Ладно, — сказала она. — Мне хотелось попробовать.

— И что дала проба?

— Отвезу его домой и потом встретимся.

— Отлично. Я буду в домике номер двадцать четыре. Большой новый мотель по ту сторону Джорджтауна.

Бесси рассмеялась.

— Недолго вы провозились с этой проблемой, — сказала она. — Буду там в шесть, в начале седьмого, сколько займет дорога.

— И снимите этот дурацкий значок.

— Ну что вы! Как можно! — сказала она. — Вы подумаете, я вертихвостка.

— А вы и есть вертихвостка.

— Да, наверное. Но уж лучше сейчас повертеться, чем потом. А я-то разоделась к встрече с вами — с такой знаменитостью. Кто бы мог подумать, что вас не наряд интересуется, а совсем наоборот.

— Если б вы приехали сюда в рабочем комбинезоне, было бы то же самое.

— А мне идет комбинезон. Так все говорят, — сказала она.

— Да вам, Бесси, и говорить не надо, сами это знаете.

— Нет, правда, все говорят. Особенно он. — Бесси тронула студенческий значок. — Может, рано я с ним связалась?

— Чудовище приближается, — сказал Янк.

— Скупердяй. Не может разориться на смазку для своей колымаги, — сказала она.

Палмер вкатил в гостиную.

— Ладно, Бесси, поехали, — сказал он.

И не взглянул на Янка, звука не произнес. Она высунула ему вслед язык и пошла за его креслом.

— До свидания, мисс Томпсон, — сказал Янк.

— Очень приятно было познакомиться, — сказала Бесси.

Янк смотрел, как они сели в машину и отъехали, и не заметил, что рядом с ним у окна стоит Анна Фелпс.

— Я должна извиниться перед вами, — сказала она.

— Почему? Вы тут ни при чем.

— Нет, извиниться я должна. За то, что не так вам его представила. Я думала, он совсем другой. Наслушалась, как моя сестрица поет ему хвалы. Прежде чем рекомендовать человека, надо его самой хорошо знать. Мне стыдно.

— Да бросьте вы.

— Я могла навлечь на вас неприятность, — сказала она.

В эту секунду вольные мысли Янка на ее счет могли бы осуществиться, и она хотела этого. Но поперек дороги успела стать смешная распутная девчонка.

— Давайте выпьем виноградного соку, раз уж вы его выставили, — сказал он. — Как говорится, лучше в нас, чем в таз.

— Больше ни о чем не буду вас просить, — сказала Анна Фелпс.

— Зачем вы так говорите? Может, и у меня к вам тоже будет какая-нибудь просьба, — сказал Янк.

Смешная распутная девчонка приехала в мотель, и он сразу же увидел, что студенческого значка на ней нет.

— Куда ты его дела? — сказал он.

— Ах, заметил? — сказала она. — Проглотила.

— Ну и как, вкусно?

— Очень вкусно, когда проглотишь, — сказала она.

Они оба рассмеялись.

— Я же говорила, что готовилась к встрече с тобой, надела все самое нарядное. Знаешь, Чарли такой наглец, мне, наверно, давно хотелось, чтобы ему как следует всыпали, но от тебя я этого не ждала. Он настоящий садист, да еще мазохист.

— Он чудовище!

— Да, наверно. Но он меня завораживает. Он ведь ни на что не способен. Противный такой, но почему-то завораживает. И когда ты начал его разделывать, это так мне понравилось, сказать не могу. Ох, все мы сумасшедшие, каждый на свой лад.

— А я на какой лад?

— Еще не знаю, но ты наверняка сумасшедший.

.....

— Твои часы правильные?

— Врут на одну-две минуты, — сказал Янк.

— Мне к семи надо быть дома. Как бы Чарли не наскочил где-нибудь

на моего женишка. На десять — пятнадцать минут я могу опоздать, но не больше.

— Тогда одевайся. Да, как бы не забыть — вот тебе пятьдесят долларов.

— Знаешь что, оставь до следующего раза, — сказала она. — Будем считать сегодня бесплатной пробой. У моего отца гараж — если тебе понадобится подержанная машина. Продавать новые ему не позволяют. Репутация подгуляла. Но я послежу, чтобы тебя не надули — во всяком случае, у него в гараже.

— Бесси, знаешь, ты кто? Ты чудачка.

— Не от тебя первого слышу. Ну, так как? Скажем, послезавтра в это же время и в этом же месте. Если не смогу, я тебе звякну.

— В шесть часов, здесь, послезавтра, — сказал Янк.

— Поцелуй меня понежнее на прощание, — сказала она.

Он поцеловал ее.

— Нежнее родного братца, — сказала она.

— У меня это уже входит в привычку, — сказал Янк.

— Au'voir, cheri^[4], — сказала она и вышла.

Он прислушался к постукиванию ее веселых каблучков по асфальту, к завыванию мотора и к стремительному рывку машины. Он улыбнулся. Она была смешная и развратная, но не пустышка и не вредная. Он постарался обойтись с ней по-хорошему, потому что она такая жизнерадостная.

Но через четыре часа из передачи берлингтонского радио он услышал известие, повергшее его в глубочайшее уныние. «Сообщаем также, что сегодня вечером в результате автомобильной катастрофы получила смертельные ранения Элизабет Томпсон, девятнадцати лет. По утверждению полиции, ее машина, мчавшаяся на большой скорости, врезалась в дерево. Мисс Томпсон, ехавшая одна, — студентка второго курса Вермонтского университета. Труп опознал ее отец, Рой Р. Томпсон, владелец гаража подержанных машин. Мистер и миссис Уэнделл Хитчкок отпразднуют золотую свадьбу завтра в своем особняке на...»

— Да ведь это та самая девушка, что приезжала сюда сегодня, — сказала Анна Фелпс. — Конечно, она. Вот на этом самом стуле сидела. Бесси Томпсон. Девятнадцати лет. Второкурсница. Хорошенькая. Вы с ней разговаривали вот здесь, в этой самой комнате. Ну и наделала я дел. Ох и наделала!

— Зачем вы так говорите, миссис Фелпс! Вашего племянника с ней не было. По радио сказали, что она ехала одна.

— Да, но, если бы ей не пришлось везти сюда Чарлза, она была бы где-

нибудь в другом месте в ту минуту.

— Ах, перестаньте, пожалуйста.

— Я понимаю, почему вы сердитесь, мистер Лукас, но, казалось бы, все это уже забыто. Пойдите лучше погуляйте, а когда вернетесь, я сварю вам кофе и дам чего-нибудь вкусного пожевать. На улице хорошо, к вечеру похолодало. Эд Кросс говорит, что скоро надо ждать первых заморозков.

— Дельный совет, — сказал Янк.

Он вышел на улицу и остановился под темной защитой каштана. Но ему не удалось откупиться от подавленности легко подступившими слезами — ни тогда, ни в часы бессонной ночи.

На следующий день он прочел в газете подробности катастрофы. На первой полосе была фотография машины, на следующей — еще две. Машина охватила ствол дерева словно кронциркулем, изуродованное тело скрючилось от удара. В перечне увечий было три смертельных. Сквозь множественные переломы черепа, вероятно, виден мозг, и те, что первыми прибыли на место катастрофы, прочтут — если сумеют — ее последние мысли.

Почва — или, более поэтично, земля Вермонта — еще не настолько замерзла, чтобы откладывать погребение. И Янк еще не стал такой окаменелостью, чтобы не поехать на похороны. Он подумал, почему это слово «окаменелость» вдруг возникло у него в мозгу из какой-то забытой лекции по геологии или из кроссворда? Интересно, видела ли когда-нибудь Бесси Томпсон невероятно смешного эстрадного комика Лу Хольца. Почему вдруг Лу Хольц? А, да! Он рассказывал смешные еврейские анекдоты о некоем Сэме Каменчике. Сохранила бы Бесси Томпсон свой юмор на всю жизнь? Да, такой человек сохранит жизнерадостность до конца, и так это, вероятно, и было до той самой минуты, когда ее машина врезалась в дерево. Он представил себе, как машину занесло, а Бесси крикнула: «Эй-Эй! Стой! Куда тебя несет!» — и умерла, не досмеявшись. Надо надеяться, что так все и было. Хоть бы она не испугалась. Если все так и было, тогда Бога можно простить.

Ему хотелось узнать о ней больше того небольшого, что он знал. А он знал все, о чем могли сказать любовные обьятия. Если б она прожила дольше и легла с ним в постель в тысячный раз, их обьятия мало что открыли бы в ней, а привычка друг к другу скорее умалила бы ее достоинства. В отношениях с Бесси, как и с прочими женщинами, с которыми он был близок, пресыщение умерило бы страсть. Два года — вот предел для его тяги к любой женщине, а с той, на которой он был женат, этот срок делился пополам: до и после того, как она разделась перед ним,

добавив зрительное наслаждение к осязательному. Разве необоснованно, разве безжалостно было предположить, что жизнерадостность и чувственность Бесси в конце концов приелись бы ему? Но это предположение так и останется неподтвержденным, а ее жизнерадостность и чувственность были реальностью. В нем жила теперь и всегда будет жить память об идеальной связи, которая длилась меньше трех часов. Ну что ж, три часа — срок вполне достаточный. У них не хватило времени на другое, на неприятное. За три часа она не изменила ему (а он — ей), они не успели поссориться из-за денег, из-за остывшего кофе, из-за непроветренной спальни, из-за столкновений с ее матерью, из-за подавленной похоти ее отчима, из-за его — мужа — положения в обществе. Трех часов хватило только на то, чтобы разделить страсть, радость и полноту близости. Свое уродство жизнь показала после этих трех часов, и Янка бросило в холод при мысли о том, что он чуть-чуть не прошел мимо хорошего. Но опять же, такой потери не было, а страсть, радость и полнота близости были, и их не отнять.

Этой полноте не повредит его желание, его потребность узнать больше о ней. Ничто не умалит этого совершенства — ни то, что было до него, ни то, что случилось потом. Он сел в машину и поехал в Берлингтон. Пошел посмотреть на ее дом. Двухэтажный, с двускатной серой, крытой дранкой крышей и с терраской, не предназначенной для того, чтобы на ней сидели. Дом никак не вязался с Бесси; он ни о чем не говорил, кроме того, что здесь, в этом чопорном мелкобуржуазном районе, была смерть. У тротуара ждал большой темно-серый катафалк, за катафалком стояли почти таких же размеров открытый «кадиллак» с цветами и два лимузина — «кадиллак» и «крайслер», оба черные, «кадиллак» постарше «крайслера», судя по номеру. В доме Томпсонов ничего особенного не происходило, и, видимо, не должно было произойти: парадная церемония откладывалась до прибытия в церковь. Янк дождался, когда ее родные вышли из дому. Вот это явно отец — не слишком щепетильный торговец подержанными машинами; это явно мать под темной вуалью; две сестры — явная и не столь явная; вот это, вероятно, брат, а это, бесспорно, жених, единственный, кто не мог совладать со своим горем. Явный распорядитель похорон — в темно-сером костюме, под цвет катафалка, и в черных башмаках, под цвет «крайслера», — заглядывая в бумажку, которую он держал в руке, рассаживал провожающих по машинам. Легкое замешательство, когда жених хотел было сесть во вторую, но его посадили в первую.

Распорядитель в последний раз легким движением поправил свой

парик, и траурный кортеж двинулся в путь. Янк поехал следом в отдалении, доказывающем его непричастность к похоронам.

До церкви было недалеко, и, будь она побольше, провожающие не заполнили бы ее и наполовину. Среди присутствующих большинство была молодежь; старше двадцати пяти лет Янк насчитал человек двадцать. Подруги Бесси по студенческой организации занимали три скамьи. Перед тем как выйти священнику, какой-то студент провез по проходу Чарлза Палмера и помог ему перебраться с кресла на скамью. И все. Янк, который до появления Палмера, сидел, закрыв лицо рукой, дождался, когда священник закончит службу, и перед выносом гроба незаметно вышел из церкви. Священник-янки говорил так, что половину его слов было не разобрать; две студентки вдруг во всеуслышание предались краткому приступу горя; жених стонал не переставая. Но провожающие — в основном молодежь — были не столько потрясены, сколько озадачены случившимся. Когда церемония кончилась, юноши и девушки создали пробку в дверях, остановившись закурить, едва только их ноги переступили порог. Не так надо было хоронить Бесси Томпсон, и Янк поторопился уехать в Ист-Хэммонд, забыв посмотреть на то дерево.

— Вас просят позвонить в Нью-Йорк, телефонистка номер девятьсот восемьдесят девять, — сказала Анна Фелпс. — Оксфорд-пять-четырнадцать-семнадцать. Уже два раза вызывали. Я ответила, что к ленчу вы должны вернуться.

— Это мой агент. Я ездил на похороны той девушки.

— О-о! Семья, наверно, была тронута, — сказала Анна Фелпс.

Он покачал головой:

— Меня никто не видел.

— Чарлза Палмера там не было?

— Был, но он меня не заметил.

— Хм! Стоило тратить столько времени — ехать в такую даль и даже не зайти к ее родственникам. Хотя у вас на все свои взгляды.

— Я поехал туда, потому что она мне понравилась.

— Хорошо ее проводили?

— По-моему, не очень. Но я не знаю, как тут у вас принято. Вам телефон сейчас не понадобится?

— Да нет, пожалуйста, звоните.

— Этот разговор не за ваш счет; так что не будем засекаать, сколько я проговорю.

— А я и не беспокоюсь. Только раз я влипла. Тридцать с лишним долларов за разговор с какой-то военно-воздушной базой в Калифорнии. Но

спустя два месяца деньги мне все-таки пришли. Поговорили и забыли начисто, пока я сама им не напомнила. От кого все неприятности — от забывчивых людей. Оставляют свет в уборной. Пережигают лампы в приемнике. Все от забывчивости, ни от чего другого. Курят в постели.

— Пока я тоже не забыл, надо вызвать этот номер, — сказал Янк.

Пег Макинерни обедала в ресторане, но в мире театральных агентов, продюсеров и тому подобной публики, в мире деятелей творческой рекламы и творческой координации, в мире вице-президентов, ведающих творческими координаторами, координация на ответственном уровне в значительной мере в том и состоит, чтобы связывать двух людей по телефону. С помощью различной аппаратуры голос Янка из коттеджа Анны Фелпс в Ист-Хэммонде, штат Вермонт, был услышан секретаршей Пегги в Нью-Йорке, передан через коммутатор в ресторан на Пятьдесят второй улице, номер 21, и наконец достиг столика, за которым обедала Пег.

— А-а! Хелло! — сказала Пегги.

— Хелло, Пег. Я надеюсь, вы не соскучились по своей машине?

— По машине? Слушайте, я счастлива, что сбавила ее вам. Вы сэкономили мне плату за гараж и за многое другое. Пожалуйста, берите ее в подарок. Но я не поэтому звонила. Ну, как вы там?

— Нормально. Но и не это вас интересует.

— Правильно. Как подвигается новая пьеса?

— Прекрасно. Недели через три, кажется, допишу черновой вариант.

— Великолепно, просто великолепно! Вот почему я вам звонила. Ну как, чувствуете вы себя по гроб обязанным Эллису Уолтону?

— Эллису Уолтону? Да, чувствую. Он прилично себя ведет, ведь так? С деньгами все чисто?

— Я глаз с него не спускаю — слежу, как ястреб. Вы, наверно, не очень вникали в те сведения, которые я вам посылаю? Сколько билетов продано и тому подобное?

— Да, не очень.

— Так я и думала. И ответов на письма от вас тоже не дождеешься. Но я знаю, вы работаете, и решила связаться с вами по телефону. Как вы отнесетесь к возможности заработать двадцать пять тысяч долларов за неделю?

— Такие деньги идут только из Голливуда.

— Да, Голливуд. Но прежде чем отказываться, послушайте меня. Эли Харбенштейн — это имя вам что-нибудь говорит?

— Ровным счетом ничего.

— Два года назад оно мне тоже было незнакомо, но это из новых

тамошних фигур. В прошлом майор военно-воздушных сил, кончил Дартмутский университет, Фи Бета Каппа. Во время войны снял несколько фильмов об авиации, во всяком случае, имел какое-то отношение к этому. Летал над линией фронта с кинооператорами. И черт его знает, чем он там еще славен. Но после войны он уехал в Голливуд и мало-помалу поднялся на теперешнее свое место — один из любимчиков «Метро-Голдвин». У него своя съемочная группа, полностью независимая.

— Другими словами, он продюсер.

— Творческий продюсер. Работает в тесном контакте со сценаристами и режиссерами. Основной его принцип — незачем тратить большие деньги на приобретение пьес и романов, но за то, что написано специально для них, ничего не жалко. Неделю назад я продала ему за десять тысяч долларов двухстраничное либретто одного писателя, о котором еще никто ничего не слышал.

— А что он хочет от меня, Пегги?

— Он хочет, чтобы вы к ним приехали, все расходы будут оплачены полностью, персональная машина с шофером, коттедж на территории отеля «Бeverли-Хиллз». Носиться с вами будут, как с очень важной персоной, и заплатят двадцать пять тысяч долларов за консультации. Займет это неделю. Откровенно говоря, он хочет поживиться чужими мыслями. Сесть с вами за стол и поговорить о киношных делах. Писать ничего не придется — ни строчки. Сядете и выложите ему свои соображения по поводу того, что нужно современному кино, если подходить к делу творчески.

— Значит, сто тысяч в месяц, помноженные на двенадцать, — миллион с лишним в год. Если я выскажу полезные соображения, это принесет им по меньшей мере миллион, а мне заплатят всего двадцать пять тысяч долларов. Так что на поверку деньги не очень уж большие.

— Да, если посмотреть на дело так.

— А другим писателям он предлагал?

— Честно говоря, да. Троице. По телефону я не могу назвать их, но они — высшего класса. Все трое согласились. Вернее, согласились двое, а третий думает.

— Так что за какие-то паршивые сто или даже семьдесят пять тысяч долларов — и не из его кармана, а за счет «Метро-Голдвин» — он пройдет нагаску и получит первоклассный совет от самых первоклассных мозгов в театральном мире.

— Можно и так посмотреть на это дело, — сказала Пег.

— Признайтесь, Пегги. Оставив в стороне дартмутского Фи Бета Каппа и чин майора военно-воздушных сил — этот тип прохвост?

— О-о! Такие прохвосты мне нечасто попадались, — сказала она. — И ведь ухитряется морочить весьма умных людей.

— Тогда вот что мы сделаем. Меня так и подмывает сказать ему: пусть приезжает в Ист-Хэммонд, штат Вермонт и проведем наш семинар здесь. Но я еще не настолько знаменит.

— Да, пока еще нет, — сказала Пег. — И поездка туда вас развлечет. Голливуд, обозреваемый сверху, и никаких обязательств.

— Хорошо, я поеду и буду беседовать с майором Харбенстейном с понедельника до пятницы включительно. По пять тысяч долларов в день. С одиннадцати утра до пяти вечера. Никаких званных обедов, никаких вечеров с коктейлями, никаких оргий, никаких светских приемов. С пяти вечера и до одиннадцати утра своим временем распоряжаюсь я сам.

— Харбенстайн на это пойдет, хотя без особенного удовольствия, — сказала Пег.

— Да, так я и думал. Похоже, что он жучок, которому хочется открыть еще одного Торнтон Уайлдера.

— Совершенно верно, — сказала Пег. — Когда же вы поедете в Калифорнию?

— Когда найду нужным, — сказал Янк.

— Прекрасно, — сказала Пег. — Ну а как с Эллисом? Ему первому дадите прочитать вашу новую пьесу?

— Да. Когда найду нужным, — сказал Янк.

— Вермонт, кажется, пошел вам на пользу, — сказала Пег. — Вы стали более уверены в себе.

— Я только что вернулся с похорон. Может быть, поэтому.

— О-о!.. Кто умер? — сказала Пег.

— Одна девушка, — сказал он.

Пег запнулась, но только на миг.

— Я уже об этом думала. Вы кого-то нашли себе.

— Прежде чем найти эту, я успел кого-то потерять.

— Мне жаль, Янк. Искренне жаль. Но вы получили по заслугам. Здесь, как вам известно, вы тоже навредили.

— Мне ничего не известно.

— Навредили, Янк, — сказала она. — Сильно навредили. Вы знаете, о ком я говорю?

— Разумеется.

— Вот уж не думала, что вы способны на такую штуку.

— Э-э нет! Именно я, — сказал он. — В таких вещах надо слушаться инстинкта.

— Нет. Инстинкты надо подавлять или держать их в узде.

— И пусть все тянется к неизбежному концу на горе себе и другому человеку? Если, подчиняясь инстинкту, впутываешься в такие дела, то почему не подчиниться ему, когда хочешь выпутаться?

— Не могу с вами согласиться, — сказала Пег. — Вы, видно, не понимаете, что вы наделали, какой вред нанесли. Прогнали ее назад к Бэрри, но теперь он поставил свои условия.

— Я с вами совершенно не согласен. Никто никого не прогонял. Ваша беда в том, Пегги, что вы рассуждаете как мужчина. То есть так, как полагается рассуждать мужчинам. А я рассуждаю как женщина. Так, как они рассуждают в действительности.

— Никогда я вас не пойму, — сказала она.

— Вот теперь вы говорите с толком. Но к счастью для нас, вам и не требуется меня понимать. Меня никто не понимает. Я сам себя часто не пойму, но когда наконец разберусь в каком-нибудь своем поступке или решении, объяснить их бывает почти всегда проще простого. В данном случае мне надо было уйти от всех этих дел. Зена была частью этих дел — важной, но только частью.

— Вы женоненавистник.

— Все, что угодно, только не это. Впрочем, не буду спорить. Если вы сочтете меня женоненавистником или даже гомосексуалистом, я, может быть, дам себе труд призадуматься, так ли это на самом деле. Нет, не так! Но даже если бы вы были правы, у меня нет ни малейшей охоты увязать в глубинах самоанализа, чтобы излечиться от этого. Может быть, это свидетельствует о запоздалом гомосексуализме? Но чем поздно, лучше никогда.

— А что, если я процитирую вас при случае?

— Только с кем-нибудь наедине. О Господи!

— Что такое?

— Мне вспомнилась женщина, которая любила говорить «Побудем наедине». Я внушал себе, что она забыта. Но вот эти случайно вырвавшиеся слова вдруг словно ударили меня. Человеку, с которым вы обедаете, наверно, страшно весело сидеть там в полном забросе. Это мужчина или женщина?

— Первое.

— Кушает с аппетитом?

— Да.

— Похоже, убежденный женоненавистник.

— Вопиющий, — сказала Пег.

— Скажите ему, что вопиять с полным ртом неприлично.

— Он ответит: «Не суйтесь в мою личную жизнь», — сказала Пег. — Ну что ж, приятно было поболтать с вами, и я рада, что новая пьеса так хорошо идет. С Харбенстейном я поговорю и поставлю ему ваши условия.

— Вот еще что. Сколько вы хотите за свою машину?

— Не знаю. Пятьдесят долларов.

— Да ей цена по меньшей мере тысяча.

— Хорошо, тысячу. Документы на нее я вышлю. Больше вам ничего не нужно?

— Нужно. Сильный третий акт, — сказал Янк.

— Кто от этого откажется? — сказала Пег.

Во время этого разговора Янк перенесся в мир, который он оставил, в ресторан, где он никогда не бывал, к людям, которых не видел со дня своего приезда в Ист-Хэммонд (и не очень скучал без них). К Эллису Уолтону, Бэрри Пэйну, Зене Голлом.

Однажды, когда Янк был еще мальчишкой, в Спринг-Вэлли приехал цирк Эл. Дж. Барнса, угодив в неудачное для гастролей время, так как это было в разгар эпидемии полиомиелита и детям не разрешали ходить на цирковые представления. Пришлось им удовольствоваться большим уличным парадом — бесплатным. И поэтому воспоминания Янка о цирке Эл. Дж. Барнса ограничивались картиной его подвижного состава — фургоны с клетками, фургон с оркестром, легкие коляски на колесах с тоненькими спицами и резиновыми шинами, фургон с шарманкой; запомнилась хмурая женщина в шляпе с перьями, сидевшая амазонкой в седле, возница одной из шести конных упряжек, у которого была то ли шишка, то ли табачная жвачка за левой щекой, величиной со сливу, воинственно раскрашенный индеец с часами на руке и живая статуя — грудастая девица в трико, лопнувшем на заду. Это был последний цирк в Спринг-Вэлли. Тот самый, который запомнился Янку лучше всего, единственный, который ему по-настоящему запомнился, потому что он стоял так близко и видел морщинистую шею и неприятную физиономию всадницы, табачный жировик у возницы, часы «Ингерсолл» у индейца и прореху на заду у живой статуи. В следующую свою встречу с цирком он стал его частью, но места ему там не было.

А так ли это? В мире, где существуют вывихнутые и невывихнутые, его место среди первых, и не только потому, что он стал писать для сцены. Не выйди из-под его пера даже ни строчки, к жизни он относится по-своему — не было у него способности ни долго ненавидеть, ни долго любить, и ему думалось, что этого и не нужно. И не задавался он целью

обратить невывихнутых в свою веру. Теперь они готовы сидеть, смотреть и слушать то, что он предложит им смотреть и слушать, и так это и будет до конца его дней. Невывихнутые согласны платить деньги, согласны расстаться со своими деньгами, чтобы им показывали и рассказывали такое, во что у них нет веры и нет желания поверить. Платить будут, в этом у него сомнений не было, а вот как Пег Макинерни смогла сразу почувствовать, что он окончательно поверил в себя, ему было непонятно. Но он твердо знал, что именно это и произошло с ним, что он прожил наедине со своим первым успехом достаточно долго и стал его частью, а не только частью своей первой удачной пьесы. Во что ему обошелся успех, он не знал, — заплачено за это как будто не в Ист-Хэммонде, видимо, он платил за свой успех всю жизнь и будет платить раз за разом, год за годом небольшими взносами коротких, оставляющих шрамы страстей. Ни крохи своей души он не продал никакому иному дьяволу, кроме себя самого и своего таланта. Но и тут обошлось без торга, а получилось само собой. Он не мог отказаться от этой сделки или выговорить более выгодные условия. И он сам и его работа — это результат условий, в которых проходила его жизнь с момента появления на свет. Ни в чем он не был уверен и меньше всего в том, что этот «вывих» не есть намек на его божественность. Как ему хотелось знать, что пронеслось в его мозгу за те минуты, когда он лежал полумертвый на кухне в Челси! Если в нем есть частица божества, подтверждение этой тайны надо искать в те минуты. Но если нет в нем частицы божества и Богом ему никогда не быть, тогда отсутствие страха перед провалом, возможно, родилось в те самые минуты, когда он был частицей смерти. Правда, те минуты могут подсказать и более простое объяснение его исчерпывающей веры в себя: газ приглушил чувство страха. Нарушение деятельности мозга — только и всего. Но то же самое могло произойти, когда он выходил из чрева матери. Может быть, никогда и не бываешь ближе к смерти, чем в начале своей жизни. Когда-нибудь он напишет эдакую фантазмагорию, в которой Жук Малдауни впервые появится в качестве акушера, принимающего роды у его матери, а потом возникнет уже как Жук Малдауни, обнаруживший его на кухне. Об этом надо подумать. В мире полно людей, которые помогут ему выявить тех, кто населяет его мозг.

Он поборол в себе злость и обиду, вызванные жестокой смертью Бесси Томпсон. Вернее, обида уступила место злости, а такая стоящая вещь, как злость, даже беспредметная, исчезает нескоро. Она всегда будет сопутствовать его мыслям о Бесси. Сильные чувства были чужды ему, и он

не мог позволить себе отбросить нечто столь ярко выраженное, как злость. На другой день после похорон Бесси он поспешил купить номер берлингтонской газеты и, сам журналист в недалеком прошлом, с удовольствием убедился, что описано все весьма подробно. (Сколько ему приходилось писать такие отчеты!) Особенно он одобрил следующие строки, оживлявшие обычный репортаж: «Вместе с родными покойной в церкви присутствовал студент последнего курса Вермонтского университета Пол Синовски, о тайном браке которого с мисс Томпсон, заключенном 19 августа сего года, нам сообщили ее родители». Вот все и увязано, никаких концов не осталось. Он прочитал заметку, стоя на тротуаре у табачно-кондитерского и газетного киоска Тейера, и пошел на почту.

— Доброе утро, Янк.

Янк? Кто назвал его Янком?

Он оглянулся и увидел миссис Эттербери. Она смотрела на него с улыбкой, удивляясь сама себе.

— Это у меня нечаянно вырвалось, — сказала миссис Эттербери. — Отсюда, конечно, не следует, что вам можно называть меня моим домашним именем.

— А как оно?

— Киска. В Ист-Хэммонде, по-моему, никто этого не знает. А Кэтрин меня зовут только двое-трое. Есть у вас что-нибудь от Шейлы?

— Нет.

— У нас тоже ни одного письма, но я несколько раз говорила с ней по телефону. Шейла увлекается лыжами. Я Рено не знаю, но где-то там недалеко есть лыжные места. — Она была в старом спортивном пальто, на голове коричневая фетровая шляпка. Вот уж в чем не приходилось сомневаться — в ее элегантности, которой молодежи не достичь никаким старьем, никакой небрежностью одежды. — Что это я недавно читала о вас?

— Что я переплыл Ла-Манш? Да?

— Нет, что-то не требующее таких усилий. А, да! Что вам, должно быть, дадут премию Пулитцера. Поздравляю.

— Вряд ли моя пьеса может претендовать на это. Не выходит со сроками. Ведь премьера состоялась в прошлом сезоне.

— А я даже не знаю, кому дали Пулитцера за прошлый сезон.

— Я тоже не скажу, разве только очень напрягу память.

— Все равно, получите вы ее, не получите, ваша пьеса была гвоздем сезона в прошлом году. Моя сестра смотрела спектакль неделю назад и

говорит, что даже все стоячие места были проданы. Я хочу еще раз на нее сходить. И пойду одна, чтобы не надо было вести светские разговоры. Первый раз мы с мужем смотрели ее вместе с двумя нашими друзьями, большими театрами. Они все знают — кто где играл и тому подобное. Все это, конечно, очень мило, но не когда смотришь вашу пьесу. Так вот, я пойду одна и ни с кем не буду разговаривать. В антракте, может, схожу выкурить сигарету, а может, и нет.

— Скажите мне, когда соберетесь, и я достану вам первый ряд балкона. Оттуда, пожалуй, лучше всего смотреть. Как себя чувствует мистер Эттербери?

— Гораздо лучше. Он несколько раз простужался, а теперь, кажется, все, слава Богу, прошло. До меня дошли слухи, что вы много работаете, но все-таки навестите нас. Терпеть не могу официальных приглашений. Приезжайте в воскресенье — к ленчу.

— Спасибо, приеду. К часу?

— К часу. Будем втроем, — сказала она. — И если я назову вас Янком, все же не зовите меня Киской. — Она отвернулась от него и тут же ушла. Двусмысленность этого слова ей, безусловно, была известна, и он удивился, почему она без всякой надобности повторила его.

Он поехал к ним в следующее воскресенье. Эттербери был в добром здравии, не простужен, но ничем, помимо обязанностей гостеприимного хозяина, себя не утруждал. В два часа он заявил, что ему надо пойти по коровьим делам, и оставил их.

— Наконец-то мы одни! — сказала миссис Эттербери, и это прозвучало у нее как реплика из старинного лонсдейлского водевиля. Потом она заговорила напрямик: — Знаете, я на вас очень сердита. Откуда вы взяли, что я готова завести с вами роман? Да, да. Шейла успела доложить мне об этом перед самым отъездом.

— Вот не ожидал!

— Могла бы не говорить, но сказала. Знаете что? Вы очень талантливый и очень милый молодой человек, но зачем же себя переоценивать! Даже в отношениях с моей дочерью, которая, кажется, влюбилась в вас. Во всяком случае, настолько, что очертя голову закрутила роман в Рено, как это у вас называется.

— Он из Сан-Франциско?

— Да. Но не это важно. Важно, что Шейла так хладнокровно пошла на это. А насчет меня вы ее, вероятно, напугали. Я служу для Шейлы неким олицетворением... олицетворением того, что именуется постоянством, которого ей не хватает. Короче говоря, Янк, для человека, так тонко

чувствующего в своем деле, вы на удивление не чувствуете живых людей. Например, меня. Если бы вы действительно отличались наблюдательностью, вам стало бы ясно, что я не имею ни малейшего желания ложиться с вами в постель.

— Вы уже разгорелись.

— Может быть, но так, самую малость, и говорить не о чем. Меня удивляет, почему вы не говорите, что я боюсь. А я действительно боюсь. Мне страшно начать с вами роман, потому что я прекрасно знаю, чем это кончится. Речь идет не о первых объятиях. Но что со мной будет потом? Даже если никто не узнает о нашей связи, во мне что-то изменится. Мой муж, может, ничего и не заметит, но я замечу. Я не хочу, чтобы вы, чтобы мысли о вас проникли в постель, где мы спим с мужем. Я хочу быть только с ним, потому что — представьте себе — я люблю его. И он любит меня. А вы на это неспособны, насколько я поняла Шейлу.

— Она не имела права говорить вам.

— Нет, имела. А я имела право узнать, что с ней происходит, и оказывается, все дело в вас. Шейла не вдавалась в подробности вашей связи. И мне не было доложено, есть ли между вами связь. Но она много говорила об эмоциональной стороне ваших отношений. А эмоционально вы импотент. Это справедливо?

— Да.

— Тогда вы должны понять, в чем ваша ошибка, Янк. В моем возрасте, после примерно тридцати пяти лет жизни с двумя мужьями, мне нужно нечто большее, чем только переспать с мужчиной. Вам следовало бы кое-что знать, прежде чем судить обо мне так, как вы судите. Будто я изнываю и только и жду, когда вы меня соблазните. Мне, в общем, довольно безразлично, какие на мой счет ходят слухи, но вы человек не рядовой. Неужели же вы правы? Но потом я уразумела: вас ввела в заблуждение моя дочь.

— Такая отговорка ничему не поможет. Свои домыслы я строил сам.

— В таком случае вам еще многое надо постичь.

— Прошу вас, не отказывайте мне.

— Прошу? Вот вы уже по-другому заговорили. Я не слышу вашей веры в собственную неотразимость, — сказала она.

— Да. Но я все равно не отступлюсь.

— Это мне больше нравится, — сказала она. — Вы даже не представляете себе, как мне это нравится. И вы сами тоже. Ваше «прошу» почти меняет дело.

— Почти? — сказал он.

— Да, почти. А вы не пробовали обольстить ту девицу на почте?

— Нет.

— Попробуйте. Мой муж как-то назвал ее паровой помпой общего пользования, но вряд ли он сам это придумал. Ну и пусть помпа. Вы не хотите никаких осложнений, мне они тем более не нужны. Она молоденькая, а я гожусь вам в матери. Знаете что? Попробуйте подружиться с ней, а не выйдет, приходите ко мне.

— Хорошо, я притворюсь, будто попробовал, и скажу вам, что ничего не вышло, а дальше?

— Дальше я постараюсь подыскать вам другую.

— Другой можете быть вы.

— Это я предвижу. Но сначала исчерпайте все прочие возможности. Если вам надо кого-нибудь постарше, неужели вы не пытались обольстить Анну Фелпс? Или была такая попытка?

— Откуда вы взяли, что мне нужен кто-то постарше?

— Ведь я сама такая. Может, даже на год, на два старше Анны Фелпс. У вас была связь с моей дочерью, а до нее с актрисой, которая играет в вашей пьесе. Потом вы вообразили, будто я умираю от желания сойтись с вами, а это значит, что вы сами не прочь со мной сойтись. Человеку вашего возраста прежде всего должно бросаться в глаза, что я намного старше вас. И...

— Да. И черт побери, кажется, намного умнее!

— Но это в порядке вещей, Янк. Ведь я гораздо старше вас. И гораздо дольше живу на свете. А впрочем, я ничуть не умнее вас, да вы этого и не думаете, но жизнь меня кое-чему научила. Грустно то, что Шейле я ничем не могла помочь. Если уж на то пошло, так она мне помогла.

— Своим длинным языком?

— Да.

— Значит, вывод таков, что у нас с вами никогда не будет романа?

— Правильно, — сказала она.

— Если только вы не измените своего решения.

— Изменить свое решение? Какое решение? Моя жена никогда не меняет своих решений. Правда, чтобы решиться на что-нибудь, у нее иногда уходит уйма времени, — сказал Сеймур Эттербери. — О чем это вы тут говорите, если мне дозволено узнать?

— О моей новой пьесе, — сказал Янк.

— О-о! — сказал Эттербери. — Вот не подозревал, что она знакома с вашей новой пьесой.

— Да я почти не знакома с ней. А теперь, когда ты вдруг вернулся, и

вовсе ничего не узнаю, — сказала миссис Эттербери.

— Я хотел перепрыгнуть через изгородь, и у меня подвернулась нога, будь она проклята. И всего-то каких-нибудь четыре фута. Я думал, одолею. Перепрыгнуть перепрыгнул — и тут же шлепнулся.

— Надо сделать горячую ванну с английской солью, — сказала она.

— За тем я и пришел, а теперь разрешите мне удалиться. Нога болит, собака.

— Пойдем наверх, я провожу тебя. Янк, вы уж нас извините.

— Что вы! Я и так засиделся.

— Ты зовешь его Янком? Не слишком ли это вольно с твоей стороны?

— Не называть же мне его мистер Лукас, когда я гожусь ему в матери.

— Я гожусь ему по меньшей мере в отцы, но ты не слышала, чтобы я звал его по имени. Терпеть не могу фамильярности. О дьявол! Опять подвернулась. Велю наладить лифт, который был при матери. Зачем нам телефонная будка в доме? Подумаешь, какой шик! Нечего нам здесь шикавать.

— Не удивляйтесь, Янк, мы сделали телефонную будку из кабины лифта.

— Да, я догадался. Большое спасибо за ленч. Надеюсь, нога у вас скоро будет в порядке. Дайте я... — Он хотел предложить Эттербери свою помощь, но его жена замотала головой. Янка отсылали прочь, он был лишний здесь.

Вошел лакей, надевая на ходу черную куртку.

— Не надо, Вильям, — сказал Эттербери. — Ты зайди с этой стороны, дорогая, дай мне, пожалуйста, руку, и все. Нога же все-таки цела.

Им было безразлично, есть тут Янк или нет, и он ушел. Этот инцидент, сам по себе малозначительный, показал ему, какое положение он занимает рядом с четой Эттербери, рядом с их респектабельным супружеством, не говоря уже о самой Кэтрин Эттербери. Она могла говорить с ним откровенно, а через несколько секунд как ни в чем не бывало прогоняла его от себя из своего дома, из своих мыслей. Это была самая интересная женщина из всех, кого он знал, остальные казались девчонками, что, собственно, так и было. И его она заставила чувствовать себя рядом с ней зеленым юнцом, хотя он уже отвык считать себя таковым. Потерпев от нее афронт — афронт во многих отношениях, — он все же надеялся извлечь пользу из этого урока. Не так-то легко узнавать о себе некоторые вещи, особенно если ты должен бы открыть их сам, без помощи женщины, которая намного старше тебя. Может быть — впрочем, только может быть, — она притягивала его к себе, ибо он хотел кое-чему научиться у

этой женщины, а не просто любопытствовал, как зеленый юнец, что она собой представляет. Может быть... может быть, и так. Если же он ошибается, перенося свои вожделения в интеллектуальный план, стоит ли совершать еще одну ошибку и заниматься самообманом? Нет, со всей честностью, со всем смирением надо признать, что его интересовала с самого начала именно женщина, а дальнейшее мудрствование — сплошная чепуха. Да, пусть она не умнее его, но жизненного опыта у нее больше. С тобою опыт твой, старушка, а ум пусть будет у других.

Он вернулся к ее ровеснице — к Анне Фелпс.

— Ну что ж, вкусно там вас покормили, вкуснее, чем я кормлю? — сказала она.

— Вкуснее, чем вы, миссис Фелпс, меня никто не кормил.

— Хм! Вот и вырвала у вас признание, — сказала она.

— Вы первая и вы единственная, — сказал он. — Моя мать была бездарной стряпухой.

— Была?

— Была и есть, конечно.

— Вы никогда не говорите о своей матери. Про отца я слышала, он преподает в колледже, а о матери ничего не знаю.

— Грустная это история.

— Да?

— Грустнее и быть не может. Моя мать самая скучная женщина из всех, кого я знал.

— Даже если это правда, не надо так говорить.

— Вы сами вырвали у меня такое признание, — сказал он.

— Опять умничаете? Почему же вы говорите про мать, что она скучная?

— Почему я так говорю или почему я так считаю? Говорю — потому что она на самом деле скучная. Считаю — потому что это так и есть. У нее не было ни одной собственной мысли в голове. Все, что она нам вещала, все было заранее пережевано моим отцом. А он тоже не гигант интеллекта.

— Так относиться к своим родителям... не знаю... Я видела детей, у которых не было настоящего детства, и из них мало кто вышел в люди.

— Я-то в люди вышел. Не так давно я послал отцу восемь тысяч долларов. Столько, сколько, по моим подсчетам, ему стоило мое обучение в школе и в колледже, если уж говорить о колледже.

— И по этим подсчетам ваш сыновний долг исчерпан?

— Нет, не совсем. Я пошлю ему еще четырнадцать тысяч. Это за те годы, что были до колледжа.

— И тогда — полный расчет?

— Полный.

— Ну что ж, по крайней мере вы не перевели на деньги их любовь и нежность.

— Нет, перевел. Это равняется нулю. Если уж на то пошло, они мне сами задолжали за любовь и нежность, которую я расточал им до восьми-девяти лет. С этого возраста я стал разбираться в себе и в своих родителях.

— Почему они вас не любили?

— Потому что я им мешал. Ничего не купить, никуда не поехать.

— И вы чувствовали себя лишним в семье?

— Да. Банально, но так это и было, миссис Фелпс. Некоторых детей лупят, меня никогда не лупили. Жестоких, изощренных наказаний, как выражаются юристы, тоже не помню. Всегда я был обут, одет, сыт. Моему отцу и в голову бы не пришло преступить закон, запрещающий жестокое обращение с детьми. Но он не стеснялся транжирить деньги, угождая своим низменным инстинктам.

— На женщин?

— Нет. Угождал своему дурацкому вкусу в живописи. Он искал поклонения и скупал картины неизвестных художников. Да разве я вам не рассказывал?

— Нет, не рассказывали.

— Так вот, мой родитель пользовался известностью среди всяких мазил и невежд, потому что покупал у них картины. Вместо того чтобы тратиться на то, что было нужно мне.

— Например?

— Ну... не послал меня за границу.

— В восемь-девять лет?

— Нет, когда я был постарше. В двенадцать-тринадцать. Я хотел съездить в Англию и поговорить с Джорджем Бернардом Шоу.

— Это в двенадцать-то лет?

— Да. К двенадцати годам у меня уже было написано семь или восемь пьес.

— Могли бы съездить в Англию и попозже.

— Да, мог, но мне уже не хотелось поговорить ни с Шоу, ни с Марджори Доу.

— А она кто такая?

— Мистер Шоу и Марджори Доу. Это так у меня с языка сорвалось, — сказал он.

— Да, у вас привычка говорить первое, что придет в голову. Я часто

это замечала. Некоторые словечки лучше бы держали при себе.

— Невозможно. Художник во мне требует выражения.

— Да? Я не знала, что вы еще и художник.

— Художник, миссис Фелпс. Не живописец. Вы, конечно, слышали выражение «художественный темперамент», его применяют не только к тем, кто занимается изобразительным искусством.

— Слышала, не слышала... хватит. Столько от вас всего наслушаешься за день, да еще такой тихий, как воскресенье. Что вы хотите на ужин? Я вечером уйду, но приготовлю до ухода.

— Хочу ваших изумительных сандвичей с языком.

— Никогда я вас не кормила сандвичами с языком.

— Ну, тогда с этим самым...

— Приготовлю вам холодный ростбиф с картофельным салатом.

— Несколько ломтиков я оставлю Эду Кроссу.

— Совсем это ни к чему. Эд Кросс здесь только пьет кофе.

— Надо же ему перекусить, когда он привезет вас домой. Да! Можете сказать Эду Кроссу, что машину моего агента я покупаю.

— А зачем ему это знать?

— Затем, что со временем я продам ее и хочу, чтобы Эд получил комиссионные. А новую буду покупать там, где посоветует Эд. Он отказался от денег за то, что помог мне получить права, так вот, пусть знает — я этого не забыл.

— Откуда вам известно, что Эд комиссионерствует?

— Я родом из маленького городка, миссис Фелпс. Привык собирать сведения где придется.

Она посмотрела на него долгим взглядом.

— Хм! Собираете сведения? Они не всегда надежны, учтите это.

— Так, процентов на семьдесят пять. И конечно, в какой-то мере я полагаюсь на свое воображение. — Он ответил улыбкой на ее взгляд. — А тут процент надежности еще выше.

— Как бы оно вас не подвело, — сказала она.

— Думаю, что не подведет, — сказал он. — А теперь у меня к вам есть один вопрос.

— Пожалуйста.

— На моем месте вы женились бы на Хелен Макдауэлл?

— Ни на чьем месте я бы не женилась на Хелен Макдауэлл. А почему вдруг такой вопрос? Не собираетесь ли вы жениться на ней?

— Ну, а пригласили бы вы ее на моем месте выпить кока-колы?

— Что вы ходите вокруг да около?

— Намеренно. Начинаю с вопроса о женитьбе, потом беру другую крайность. А как быть в промежутке? Ну, поставьте себя на мое место.

— На ваше место. Вот приготовлю вам ужин — холодный ростбиф и картофельный салат. Если все останется нетронутым, я очень удивлюсь, когда приду домой. Это будь я на вашем месте. Когда проголодаешься, может, и потянет на филе миньон. Но ваше филе миньон в Рено, штат Невада. Так что ешьте холодный ростбиф и салат из картофеля.

— Пожалуй, я согласен с вами. Только вот не получилось бы у меня несварения желудка от холодного ростбифа с картофельным салатом — не вашего, а того, что на почте.

— Если бы вы были женаты, несварение желудка получилось бы у вашей супруги.

— Пока мы не увязли во всяких иносказаниях, скажите, почему Хелен не замужем?

— Тут я сдаюсь. Спросите кого-нибудь из ее поклонников, вы же любите собирать всякие сведения где придется. Если женщина не очень осмотрительна, мало ли что с ней бывает.

— Не рекомендуется пить у помпы общественного пользования?

Она кивнула:

— Есть такое мнение. Один мой знакомый говорит, что можно подхватить ветрянку. Заражался ли кто-нибудь ветрянкой от Хелен, не знаю, но и не поклянусь, что этого никогда не было. Господи! Да один человек в Куперстауне схватил ветрянку у своей жены.

— Другими словами, все мы рискуем.

— Все — молодые и старые, богатые и бедные. Опять же у девушки хорошая работа на почте. Живет она с матерью, мать получает пенсию. За дом все выплачено. А я по опыту знаю, что у незамужних есть свои преимущества. Ты сама себе хозяйка, а Хелен любит повеселиться. Будь у нее муж, не ходила бы она по ресторанам два-три раза в неделю, это уж наверняка. Приглашают ее разные мужчины. Коммивояжеры. Приезжие. В войну, конечно, летчики. Всегда она была с сигаретами, и бензина сколько угодно, без нормы. К таким вещам привыкают, от них, наверно, трудно отказаться. Некоторые из ее кавалеров раньше служили в воздушных частях, во время войны она с ними и познакомилась. Теперь, как только окажутся где-нибудь поблизости от Ист-Хэммонда, так к Хелен. Что с ней будет годам к сорока, не берусь сказать, а сама она вряд ли так далеко заглядывает. Живет сегодняшним днем. Да это и по ней видно. Веселая. Ветреница. Ее мать не здешняя. Из Род-Айленда. А они совсем другой породы, эти родайлендцы.

— Вот как?

— Там, говорят, больше пятидесяти процентов иностранцев. Все больше итальянцы. Миссис Макдауэлл, конечно, не итальянка. Она на итальянку не похожа. Но то, что ее родина Род-Айленд, — это наверняка. Вот и все про Хелен. Остальное чистые сплетни.

— Ну-ну, давайте посплетничайте.

— Нет. Так мы до ночи здесь просидим, и все равно имена мало что вам скажут. Но одно-то имя всем будет известно.

— Какое?

— Янк Лукас, — сказала она.

В следующие свои приходы на почту Янк стал держаться свободнее с Хелен Макдауэлл, стараясь внушить ей мысль, будто ее приветливость наконец-то приносит плоды. Так было нужно — почему, он сам не знал, — нужно, чтобы в тех отношениях, которые ему требовались, она видела свою победу. Пусть так и думает, это лучше, чем проявлять настойчивость самому. Если сейчас уступить этой Хелен, потом — в свое время — легче будет порвать с ней. Не то ее дружелюбие в конце концов может приесться, и не будешь знать, куда деваться от неприятностей. Какие его ждут неприятности, трудно сказать, но в этой игре Хелен Макдауэлл будет не так-то легко признать свой проигрыш — разве только гордость подскажет ей, что она сама во всем виновата.

Для него стало развлечением заходить на почту и разыгрывать роль человека, который чем дальше, тем больше, сам того не замечая, подпадает под женские чары. Начал он со следующей недели — с понедельника, и день ото дня улыбался ей все теплее и все больше проводил времени за пустяковыми разговорами. К пятнице стало ясно, что она, так сказать, готова. Начинался уик-энд, и он дал ей возможность открыть действия.

— Вот опять подходит суббота и воскресенье, — сказал он. — Работать в Ист-Хэммонде прекрасно, а когда захочешь развлечься, ломаешь голову, что с собой делать.

— Ну, не знаю... — сказала она.

— Деваться-то некуда, — сказал он.

— А «Кукиш»?

— Какой кукиш? С маслом? Вы шутите?

— Нет, ресторан «Кукиш».

— Первый раз о таком слышу. Где это?

— Да за Куперстауном, мили три-четыре оттуда.

— А что там? Музыкальный автомат, танцульки?

— Автомат у них есть. Знаете какой? «Музак». Монеты в него

опускать не надо. Ресторан первоклассный. Французская кухня. Хозяева из Квебека — целая семья.

— «Кукиш» звучит не очень-то по-французски.

— Они купили его у прежнего хозяина Гарри Кука, а мы по-старому называем — «Кукиш». Сейчас другое название — «Maison Blanche»^[5].

— А, знаю, где это. Вывеску я видел.

— Мили три-четыре от Куперстауна. Я постоянно там бываю.

— Возьмите меня как-нибудь.

— Хоть сегодня. Зачем откладывать? — сказала она.

— Вы это серьезно?

— Я всегда говорю серьезно.

— Так я и поверил!

— Ну, кое-когда позволю себе невинную ложь. В «Кукише» надо бывать по пятницам. В субботу у них полно, а в пятницу и обслуживание лучше и готовят без всякой спешки. Rôté maison^[6] так просто неземной. А для любителей всяких морских деликатесов — пожалуйста, крабы au gratin^[7]. Ой, даже говорить не могу, слюнки текут.

— Так чего же мы ждем? Когда за вами заехать?

— Ну, скажем, в половине девятого.

— Так поздно?

— Да что вы! В «Кукише» никто рано не ужинает. Это вам не какая-нибудь закусочная.

Он заехал за Хелен и сразу заметил, что она позаботилась о своей наружности.

— Пожалуй, надену чернобурку, — сказала она, привлекая его внимание к своей чернобурой лисице.

По дороге в «Кукиш» Хелен чувствовала себя прекрасно и сидела с самодовольным видом, а когда они вошли в ресторан, персонал, начиная с гардеробщицы и кончая метрдотелем, все поздоровались с ней, подчеркнуто величая ее «мисс Макдауэлл».

— Я позвонила, чтобы нам оставили столик, — сказала она Янку. — Так лучше, а то засунут куда-нибудь.

— Предоставляю вам заказывать, — сказал Янк.

— Пожалуйста, рада услужить, — сказала Хелен. К его удивлению, она вела переговоры с метрдотелем по-французски.

— Моя мать француженка. Из Потакета, штат Род-Айленд. Отец ни слова по-французски не понимал и приходил в бешенство, когда мать с нами говорила. Иностраный язык все-таки иногда полезен. Вы говорите

по-французски?

— Нет, но в бешенство не прихожу. По-испански немножко знаю. Испанский гораздо легче французского.

И так далее и тому подобное. Разные люди подходили к их столику — поболтать с Хелен и поглазеть на Янка. Одних она знакомила с ним, других — нет: «Это сенатор из Монтпильера... Это хирург, который делал операцию моей матери... Это... подполковник, но сегодня он в штатском... Известный адвокат из Спрингфилда, штат Массачусетс... Эти двое ничевушки. Послушайте, как я их отбрею...» — И так далее и тому подобное. В дальнем конце зала был большой камин. На столиках стояли фонари «летучая мышь» и высокие старинные перечницы. Огромные бутылки с коньяком на высоком выступе вдоль стены. На дверных косяках медные бляхи с конской упряжи. «Музак» играл все больше записи Джерома Керна и Винсента Юменса. Еда была обильная, хорошо сервированная, и Хелен съела все до крошки и выпила почти всю бутылку шамбертена. Подали счет, и Янку пришлось разменять дорожный чек. L'addition^[8] был на 54 доллара 37 центов.

— Это вам не забегаловка, — сказала Хелен.

— Очень хорошо, что есть такое место, куда можно прийти развлечься.

— По воскресеньям у них устраивают буфет по пяти долларов. Он пользуется большим успехом. Но воскресенье я всегда провожу с мамой. Знаете, как у стариков? Доживет человек до определенного возраста, и все у него сразу сдает. Сначала зрение, потом слух. На вид-то она не старая. Но как эти старики слушают радио, просто удивительно! Говоришь с ней — надо кричать, а Джека Бенни слышит. Рочестер, вот кто умора! Голос у него точка в точку как у Энди Дивайна. Сначала я думала, что он и есть Энди Дивайн, а потом узнала, что за него говорит Эдди Андерсон. Вы, наверно, почти со всеми с ними знакомы, хотя они выступают по радио, а ваши вещи для театра.

Пора было уходить — начало двенадцатого. Они сели в машину, и, взглянув на нее мельком, он понял, что она ждет поцелуя. Поцелуй был крепкий, но для Хелен он соответствовал ритуалу: хороший, дорогой ужин — потом любовь.

Она сказала:

— Отложим, не торопитесь. Мама сейчас уже спит.

Они подъехали к ее дому, поднялись в ее спальню, разделись, легли в постель, и она уплатила ему за пятидесятичетырех долларовое угощение. Больше в этом, пожалуй, ничего и не было. Хелен чувствовала в своей хорошей работе логическое завершение их гурманских изысков. Ничего

такого, что могло запомниться, тут не было, и он, разочарованный, погрузился в молчание. Потом она заговорила:

— Я бы оставила тебя подольше, но рано утром должен прийти маляр красить кухню. Он может только в свободное время, а сегодня у него выходной.

— Ну что ж, — сказал Янк.

— Ты доволен, как провел вечер? Я получила большое удовольствие. — Она протянула руку к стулу около кровати и взяла свой халат, зная точно, где он лежит.

— Сколько у тебя было любовников, Хелен?

— Двадцать два. Ты двадцать третий. А знаешь, что говорят?

— Нет, не знаю.

— Я не верю, но ходят слухи, будто Эттербери импотент. Он, говорят, не возражает, что жена бегаёт к рабочим. Они ведь все пришлые, надоедают ей, и она велит их выгнать.

— Неужели ты веришь этому?

— Да нет, она со мной всегда очень мила. Зачем мне верить всякой болтовне?

— Странно, мне почему-то казалось, что в Ист-Хэммонде к семейству Эттербери хорошо относятся, но это, видно, не так.

— Поживи у нас подольше, и не то узнаешь. В Ист-Хэммонде и пятнадцати человек не найдется, которые заходили бы к ним в дом. Да вот, хотя бы жена Адама Фелпса. Столько лет здесь живет, а наверху у них ни разу не была.

— Да что ты! — сказал Янк.

— Подумаешь, Эттербери! Его дед был фермером, держал всего-навсего двух мулов. Так мой отец говорил. Потом они разбогатели в Нью-Йорке, купили здесь большие участки и с тех пор тут живут. А найди в Ист-Хэммонде пятнадцать человек, которые могут сказать, что бывали в большом доме. И представляешь себе, жена Адама Фелпса видеть не видела, что у них там наверху.

— А мне казалось, у обоих Эттербери очень теплые отношения с Ист-Хэммондом.

— Это потому, что ты слышал только одну сторону. Анна Фелпс, конечно, не станет честить Сеймура Эттербери.

— А почему «конечно»?

— О, это давно было, еще до моего рождения, так что я не знаю, сколько тут правды, но они всегда разъезжали вместе в его шарабанчике. У меня есть фотографии — мой отец с Эттербери и с Анной Фелпс, до того

как она стала Анной Фелпс, и с Адамом Фелпсом и с его женой еще до их женитьбы.

— Все в одном шарабанчике?

— В одном шарабанчике. В упряжке два пони, а шарабанчик маленький. Я бы показала тебе эти снимки, но альбом у матери в комнате. Она меня, конечно, не услышит, но придется зажечь свет, а это ее разбудит.

Хелен болтала, лежа на боку, уткнув локоть в подушку и подперев голову рукой. Она угощала его пересудами, собранными за два поколения — отцовское и ее собственное, и тем самым мстила за сплетни, которые, как ей было известно, ходили о ней самой. Поощрять ее не требовалось. Своих любовников она тоже не пощадила.

— Помнишь того сенатора в «Кукише»? Мы еще с ним поздоровались. Я все, что угодно, у него выманю.

Все эти рассказы были вдвойне увлекательны — в них приоткрывалась жизнь обитателей поселка и сущность Хелен, не подозревавшей, что она разоблачает сама себя. Янк уже слышал, как Хелен описывает его своему очередному любовнику — знаменитость, автор похабной пьесы, которая идет в Нью-Йорке, но в постельных делах не бог весть что. Он не знал, как бы потактичнее остановить ее монолог, да, по правде говоря, ему и не хотелось уходить. Теперь он понимал, почему эта сладострастница, приветливо улыбающаяся посетителям из-за своего барьера на почте, так и не вышла замуж. Даже не очень стеснительные супружеские узы заставили бы ее умерить свои привычки. Хелен встала с кровати, пустила воду в ванну, и, когда Янк вышел оттуда, она сидела, листая какой-то журнал, и курила.

— Ты знаком с Хэмфри Богартом? — сказала она.

— Нет, — сказал Янк.

— Будешь в Голливуде, шепни ему, что у него есть горячая поклонница в Ист-Хэммонде, штат Вермонт. — Она взглянула еще раз на портрет Богарта и отложила журнал.

— Откуда ты взяла, что я буду в Голливуде?

— А зачем же тогда пьесы писать? Нью-Йорк? Нью-Йорк — ерунда по сравнению с Голливудом. Кто бы слышал о Хэмфри Богарте, если бы он остался в Нью-Йорке?

— Это верно.

— Ну, повторим еще разок как-нибудь? — сказала она.

— С твоего разрешения.

— С моего разрешения? Вот чудак! А знаешь, галстук-бабочка тебе больше пойдет.

— Никогда бабочек не носил. Не умею их завязывать.

— Можно купить готовый. У тебя длинная шея, а бабочка это скрадывает. Понятно? Я подарю тебе галстук-бабочку. Они есть у Гелдберга в Куперстауне, а вообще мужская одежда в большом выборе в Берлингтоне.

— Я не стилига.

Она встала — маленькая и даже какая-то трогательная без высоких каблучков.

— Я очень рада, что тебе понравилось в «Кукише». Да надо быть не в своем уме, чтобы там не нравилось. В следующую пятницу этот чертов маляр не придет с раннего утра. Ну как, в пятницу увидимся?

— Обязательно.

— Если Анна Фелпс начнет приставать к тебе с расспросами... да нет, она умная.

— Да, она умница.

— И вообще не ей говорить. Сама небось со своим Эдом Кроссом, прости Господи. — Хелен отворила дверь правой рукой, придерживая халат левой. — Знаешь, что меня подмывает сделать? — Она широко распахнула халатик, ступила на крыльцо и тут же юркнула назад. — Пусть бы полюбовались. Но я на государственной службе. До свидания, мирных снов, спи спокойно, без клопов. — Она ущипнула его, подтолкнула и затворила за ним дверь.

Наверно, хочется поскорее вернуться к журналу и Хэмфри Богарту, подумал Янк. Галстук-бабочку он, конечно, никогда не наденет, а что касается следующей пятницы, то вряд ли встреча состоится. Но впереди еще целая неделя.

В следующие дни Хелен, как всегда, улыбалась ему, когда он приходил на почту, добавив к улыбке дополнительное приветствие в виде высунутого кончика языка, что выглядело бы довольно невинно, если б у нее была привычка облизывать губы. Но теперь, после рассказней Хелен, да и после свидания с ней, Янк вдруг почувствовал, что Ист-Хэммонд начинает угнетать его. Неужели нет такого места, которое не стало бы давить гнетом? Да, такого места нет, и сколько еще ему придется постигать заново то, что он знал всегда? Спринг-Вэлли. Нью-Йорк. Ист-Хэммонд. В конечном счете вся планета Земля. В конечном счете? Да нет, уже сейчас. Он давно это знал. С того и начал, что узнал, но каждый раз постигал заново, а на это уходит много времени. Есть место, где он становится всеведущим и всеильным: оно в той комнате и на том стуле, который стоит перед его пишущей машинкой. Тут он может вообразить себя божеством.

Во всех других местах он тощий мужчина со слабым зрением, отчаянно смущающийся при виде кончика языка, высунутого шлюхой. Бетховен и Эдисон были глухими, Милтон ослеп, Гиббон и Честертон были тучными, По — сумасшедший, Платон — гомосексуалист, а Гоген — сифилитик. Чувство родства с ними еле теплилось, еле проступало в нем, до тех пор пока не начинали стучать клавиши его машинки, дающей жизнь Нэнси-Хватч и Гарри-Красавчику, но тогда он уже был в обществе Людвига и Томаса, Джона и Эдварда, Гилберта, Эдгара, Поля и Джорджа Германа Рута, султана Бейрута — в обществе тех, кто стоит особняком от тех, кто не стоит особняком.

Найдя поддержку в своих рассуждениях, он снова сел за работу, а в пятницу утром зашел на почту и сказал Хелен Макдауэлл:

— Сегодня наше свидание не состоится. Мне надо работать.

— Ну что ж, хорошо, — сказала она.

Ничего хорошего тут не было, и улыбка не могла скрыть ее досаду, но он заявил это твердо, а в жизни, которую вела Хелен Макдауэлл, мужчинам, делающим твердые заявления, перечить нельзя. Хелен возненавидела его, но ненавистью к нему она воспылала бы в любом случае. На сей раз кончик ее языка не появился.

Через неделю Янк кончил первый вариант пьесы и по телефону доложил эту новость Пег Макинерни.

— Ничего лучше со дня открытия пенициллина я не слышала, — сказала она.

— При чем тут пенициллин? — сказал он.

— Да ни при чем. Могу заменить — со дня изобретения колеса. Когда вы приезжаете?

— Еще не знаю. Дня два буду спать, а потом перечитаю пьесу еще раз. Ведь торопиться нам некуда?

— Торопиться некуда. Выспитесь как следует. А приедете, надо будет поговорить насчет Харбенстайна. Он все еще мечтает заполучить вас в Калифорнию. Полностью перемените обстановку.

— Я думал, он давно остыл.

— Ни в коем случае, — сказала она.

— Ну что ж, это не расходится с моими планами, — сказал Янк. — Сюда я уже не вернусь.

— Хватит?

— Пожалуй, хватит, — сказал Янк. — Ист-Хэммонд сослужил свою службу, и нечего мне здесь больше торчать.

— Так уезжайте оттуда поскорее. Эти городишки — тоска смертная,

когда новизна с них скатит.

— Или когда убеждаешься, что никакой новизны в них и нет, — сказал Янк.

— Значит, жду вас. Через неделю увидимся?

— Примерно через неделю плюс-минус день-другой, — сказал Янк.

Он не стал предупреждать Анну Фелпс о своем решении уехать из Ист-Хэммонда. Однако сказал ей, что кончил первый вариант пьесы и собирается спать сутки напролет.

— Значит, собираетесь в Нью-Йорк, — сказала она.

— Да, я не решаюсь доверить свою рукопись почте Соединенных Штатов, — сказал он.

Она улыбнулась:

— Почте Соединенных Штатов или местному почтовому отделению?

— Да нет, о местном почтовом отделении я не думал, — сказал он.

— Но это не значит, что оно о вас не думает, — сказала Анна Фелпс. — Или не говорит.

— Это вы о ком? Случайно, не о Хелен Макдауэлл?

— Может, и о ней, — сказала она. — Насколько я знаю, у вас было всего одно свидание, и то вы мне об этом не доложили. Но сами знаете, в маленьких городках сведения собирают по кусочкам, по крошкам. Вы специалист по такому сбору.

— Угостите меня этими кусочками и крошками, — сказал он.

— Не могу, — сказала она. — Не знаю даже, с чего начать.

— Ах, вот какие кусочки и крошки? Ну что ж! Она улыбнулась.

— Мне, наверно, следовало вас предупредить. Хелен болтает о вещах, которые порядочные женщины держат про себя. Но такому специалисту по собиранию кусочков и крошек самому следовало бы это знать.

— Я вижу, вы получаете удовольствие, миссис Фелпс. И за мой счет.

— Вы меня осуждаете? А мне почему-то смешно.

— Тогда похочите вволю. Не хихикайте.

— Не над чем тут хохотать. Не настолько это смешно.

— Может быть. Но шутки-то вы, конечно, понимаете, даже если они на ваш счет.

— Смотря какие, — сказала Анна Фелпс.

— Да это, собственно, не шутка, но среди прочих кусочков и крошек я, к своему удивлению, обнаружил, что вы были когда-то в большой дружбе с Сеймуром Эттербери.

Его поразила перемена, происшедшая в этом лице, обычно маловыразительном. От добродушного подтрунивания над ним по поводу

тех вещей, которые порядочные женщины держат про себя, она вдруг с болью, со страстью ринулась на защиту — защиту чего-то, не самой себя.

— Не бросайте слов на ветер, мистер Лукас. Не бросайте... слов... на ветер, вот что, — сказала Анна Фелпс и ушла из кухни.

Весь этот день и весь следующий она отвергала все его попытки принести извинения. Она, конечно, догадывалась, что он наслушался про нее и про Эттербери от Хелен Макдауэлл, а для Анны Фелпс этот источник осквернял любые человеческие отношения.

Янк решил не откладывать больше своего намерения проспаться сутки.

— Я ложусь на двадцать четыре часа, миссис Фелпс, — сказал он. — Если мне захочется выпить стакан молока и немножко перекусить, я сам все возьму. На телефонные вызовы отвечайте, чтобы позвонили послезавтра.

— Хорошо, — сказала она.

Янк взял термос с молоком, тарелку печенья, ушел к себе наверх, разделся, принял теплую ванну и лег в постель. Лежа он расслабится и сможет спать по три, по четыре часа подряд, просыпаясь ненадолго в промежутки. Ему не хотелось торопить сон, и сон пришел сам, надолго, часов на семь. Он встал, сходил в уборную, снова лег и снова заснул. И так пролежал в постели на два часа больше намеченного срока, чем остался очень доволен. Потом умылся и сошел вниз. Анны Фелпс в кухне не было, но на столе лежала записка. Он поставил кофейник на огонь и, прежде чем надеть очки и прочитать эту записку, выпил чашку кофе. Кто-то, не назвавший своего имени, звонил ему в три часа утра. Две записки — позвонить мисс Макинерни, срочно. Еще две — позвонить какому-то мистеру Лидсу в редакцию «Джорнал америкен». Столько вызовов за двадцать шесть часов не было и за неделю со времени отъезда Шейлы Данем. Он выпил еще одну чашку кофе, и тут на кухню вошла Анна Фелпс с собакой.

— Все прочитали? — сказала она.

— Да, спасибо.

— С той, что не сказала, кто она, я не стала разговаривать, повесила трубку. Потом мисс Макинерни, и тоже не лучше. Она звонила сегодня утром часов в одиннадцать и еще около двух. Я знаю, это ваш агент, но, будьте добры, внушите ей: я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали. Бранится, чертыхается. Я сказала, что вы так распорядились, а ее распоряжений я слушать не намерена.

— Это не похоже на мисс Макинерни.

— Еще какой-то Лидс. Этому понадобилось знать, звонили ли вам из

других газет. Я говорю, вы просили, чтобы вас не беспокоили, и больше ничего докладывать ему не обязана. Тогда он спрашивает: может, вы проснулись? А я ответила: больше он от меня ничего не услышит. Невоспитанный народ. Горожане. Ну, вы, наверно, есть хотите?

— Да, пожалуйста. Яичницу с беконом. Я пойду позвоню с вашего разрешения.

Он застал Пег Макинерни в ее конторе.

— Вы только что проснулись? — сказала она.

— Выпил кофе, впервые за двадцать шесть часов.

— И ничего не знаете про Зену?

— Про Зену? Нет. Наверно, что-нибудь плохое.

— Да, плохое. Держитесь, Янк. Она покончила с собой ночью. Приняла слишком большую дозу снотворного, но это, несомненно, самоубийство.

— Несомненно, самоубийство, — сказал он.

— Я от Эллиса все узнала. Плохо, Янк. Очень плохо. Зена встретила с Бэрри после спектакля, поехали ужинать к «Сарди». Переругались там насмерть, и она ушла одна. Он обращался с ней по-скотски, это весь город знает. Просто по-скотски. Она приехала домой и начала всех обзванивать, но, если говорить правду, последнее время с ней часто так бывало, и многие отключали свои телефоны. Марк Дюбойз говорил Эллису, что Зена и ему звонила и понять ее было нельзя. Несла что-то бессвязное, видимо, первое, что придет в голову. Марк под конец сказал ей: мне пора спать. Она позвонила Скотту Обри, налетела на его жену и бог знает чего наплела про Скотта. Позвонила мне. Сказала, что если я не дам ей вашего телефона, то сама буду за все отвечать. Я спросила: за что «за все»? Это не важно, говорит. В голосе у нее было такое отчаяние, что я дала ей ваш телефон. Она до вас не дозвонилась.

— Да, я спал. И не велел себя будить, кто бы ни позвонил.

— Это вряд ли изменило бы дело. Что было дальше, неизвестно. Но между тремя-четырьмя часами ночи она приняла целый флакон снотворного. Утром горничная и нашла ее мертвой. Она лежала в ванной на полу.

— И все-таки это еще не доказывает самоубийства, — сказал Янк. Телефон умолк, и он сказал: — Пегги, вы меня слышите?

— Да.

— Я говорю, это еще не доказывает самоубийства.

— Она оставила записку. Вам. На клочке бумаги написано: «Дорогой Янк, благодарить тебя не за что».

— О-о! — сказал он. — И все?

— И все. Но это попало в газетные заголовки. Сейчас прочту. «Зена — Янку: Благодарить тебя не за что». А в одной газете собрано все, что сейчас говорят об этом. Что вы толкнули ее назад, к Бэрри, и что из-за вас он ужасно обращался с ней. Описания их стычек на людях. Ни для кого не секрет, что из примирения ничего не вышло. И прочее и тому подобное. Не знаю, где у нас закон о клевете в печати, но клевета вот она, налицо.

— Правда, что он плохо с ней обращался?

— Это всем известно. Бэрри говорил людям: «Вы знаете мою жену, брошенку Янка Лукаса?»

— Сволочь, — сказал Янк.

— Да, конечно, но я уже пыталась вам внушить, что вы наделали здесь бед.

— А теперь внушаете, будто я убил ее. Да?

— Если бы я так думала, я бы не говорила с вами сейчас.

— Как знать, — сказал он.

— У меня была смутная надежда, что вернетесь вы в Нью-Йорк и у вас с Зеной все наладится, а нет, так она хотя бы всыплет вам как следует. Или то, или другое.

— Я собирался приехать послезавтра, — сказал он.

— Завтра похороны. Завтра не надо вам приезжать, — сказала она. — Траурная служба в церкви на Мэдисон-авеню. Для вас это может кончиться неприятностью.

— Я не собирался там быть, но теперь, кажется, надо, — сказал он.

— Зачем? Подтвердить свое мужество? А если кто-нибудь устроит скандал, захочет дать вам по физиономии, чем это поможет Зене? Окажите ей хотя бы минимум уважения. Там будут все театральные знаменитости. Дайте вы ей удалиться со сцены с достоинством.

— С достоинством? Хорошо. Значит, мы увидимся только послезавтра?

— Да. И я закажу вам номер где-нибудь — в отеле «Пьер» или в «Сент-Реджисе». Останавливаться в «Алгонкуине» не надо.

— Вы не хотите, чтобы я остановился в «Алгонкуине»? Ладно.

— А в Калифорнию могу вас отправить на следующий же день.

— Так вы советуете?

— Да. Там... ну, там — это не здесь.

— Я пробуду в Голливуде не больше недели.

— Как хотите. Но может, вам захочется пожить там подольше. По словам одного моего знакомого, женское население в Голливуде гораздо

гуще. И он же говорил, будто товарооборот там происходит быстрее, но я так и не поняла, что это значит.

— Если выясню, то растолкую вам, — сказал он.

— Знаете, Янк, на мою долю много пришлось всякого. Кончали с собой. Одного убили. А уж сколько разводов и всего прочего, одному Богу известно. Куда бы ни склонялись мои симпатии, для своего клиента я всегда стараюсь сделать все, что могу. Иначе я не брала бы с него денег.

— Так я и думал, — сказал он. — А куда склоняются ваши симпатии, мне известно.

— Вот как? На сей раз я сама ни в чем не уверена. Если заглядывать вперед, то есть в конечном счете.

— Ну что ж, надеюсь, в конечном счете мы с вами окажемся на одной стороне, на той, на какой нужно и в нужное время.

На этом их разговор закончился. И тут же, собственно, закончилось его пребывание в Вермонте.

— Послезавтра я уезжаю, миссис Фелпс, — сказал он.

— Совсем? — сказала она.

— Да.

Она кивнула.

— Конечно, здесь вас теперь ничто не держит, — сказала она.

— Не сердитесь на меня за мою вольность насчет мистера Эттербери, — сказал он.

— Насколько я могу судить, мистер Лукас, вам трудно понять, почему это меня обидело.

— Скажите, почему?

— Скажу-то я охотно, да вряд ли у вас что-нибудь прояснится. Понимаете, мистер Лукас, мои воспоминания — они мои. Вот как игрушки у ребенка. А ребенку понравится, когда он придет домой и увидит, что в них играют двое посторонних?

— Посторонние — это мы с Хелен Макдауэлл? — сказал Янк. — Что же, понимаю.

— Игрушки, захватанные чьими-то липкими пальцами. Липкое можно отмыть холодной водой, но сама ты берегла свои игрушки, не хватала их липкими руками. Уж я-то, во всяком случае, так не делала. Теперь давайте рассчитаемся. С вас там за два-три телефонных разговора, а так за все уплачено до конца недели. Вы можете, конечно, потребовать, чтобы я вернула вам за неиспользованные дни, но тогда надо было предупредить об отъезде заранее.

— Ничего я не собираюсь требовать, пора бы вам запомнить это.

— Да, я знаю, вы никогда не скупились. А как с машиной — раздумали ее продавать?

— Да, раздумал. На этой неделе я уезжаю в Калифорнию, а машину поставлю на прикол.

— Эд был бы не прочь заработать комиссионные, — сказала она.

— Я оставлю ему чек на пятьдесят долларов.

— Нет, этого я вам не советую. Он не примет ваших денег. Если бы вы поручили ему какое-нибудь дело, так чтобы он смог заработать, тогда другой разговор. Но такому, как Эд Кросс, чаевых не предлагайте.

— Хорошо, миссис Фелпс, я найду способ рассчитаться с ним. Попрошу отыскать, нет ли чего о моих предках в здешнем архиве.

— Лишь бы заработано было. И если можно, лучше наличными.

— Хорошо. Я оставлю вам нью-йоркский адрес. Моего агента. Она перешлет мне счета и что там еще будет. Уеду я послезавтра, рано утром.

— Поесть я вам приготовлю вовремя.

— А до тех пор мне еще надо поработать, но стучать на машинке не буду. Так что начинайте привыкать к тишине.

— Машинка мне никогда не мешала, — сказала она.

— А что мешало, миссис Фелпс?

— Да нет, мы уж с вами вроде простились.

— Вот сейчас я буду требовать. Что вам мешало?

— Да ваши кошмары. Сколько раз мне хотелось подняться наверх и разбудить вас, но, по-моему, вы сами всегда просыпались.

— Прошу прощения.

— Да ведь это вам от них было плохо, а не мне. Хотя иногда я боялась.

— Я кричал?

— Нет, не так громко. Скорее, стонали. Слов не было слышно, только стоны. Вы, наверно, кофе слишком много пьете. У мистера Фелпса тоже бывали кошмары, если он ел сыр. Поэтому сыра я вам никогда не подавала. Так что все дело, наверно, в кофе.

— Ну что ж, еще только две ночи. Уж потерпите.

— Да у вас они не каждую ночь.

— Вряд ли это от кофе, вот сегодня, например, мне наверняка будут сниться кошмары. Актриса, которая играла главную роль в моей пьесе, покончила с собой. Поэтому было столько телефонных звонков. Завтра появится в газетах.

— И по радио передавали.

— Так вы уже все знаете?

— Только то, что по радио.

- И ничего не сказали мне?
- Ждала, когда вы сами скажете.
- Это... чутко с вашей стороны.
- Мы люди воспитанные, — сказала она.

Он сел читать свою пьесу, и эта читка была как прогон на сцене. Сначала он благодарил судьбу, что ему есть чем заняться. Пьеса захватывала его, требовала сосредоточенности — он читал реплики, слышал, как их произносят, видел весь спектакль. Потом, во второй сцене первого акта, появилась Зена. Эту роль он написал для нее, отрицая, что именно для нее она и написана, и убеждаясь все же, что обманывает сам себя. Не слишком приятно сознавать: есть живое существо, которое так насытило, так пронизало собою твой вымысел, так подчинило его себе, а Зена это сделала. Зена — и никто другой, существующий или воображаемый, — была в каждом слове, в каждой паузе. Он читал с жадностью, словно открывая для себя, какой Зена была при жизни. Эта пьеса стала достоверной записью и рассказом автора о живой Зене — автора, который наблюдал ее близко и наблюдал зорко. Мимоходом, репликой в сторону, Янк признал, что теперь ему понятно, почему с первых строк пьеса писалась как бы сама собой. Но тогда он еще не знал, что был инструментом в руках существа, им же и загубленного. Как блистательно, с какой иронией отомстила Зена! Мучительно было сознавать, что никогда больше не напишешь ничего равного этой пьесе. Радостное ощущение своего сродства с Богом, открытие в себе божественного начала и гениальности и предельная вера в свои силы — все это исчезло, как дым над Геттисбергом, как слезы в Гефсиманском саду. Он быстро дочитал до конца некролог Зены Голлом, который одновременно был и некрологом таланта Янка Лукаса.

Если, конечно, он не найдет кого-нибудь ей в замену.

notes

Примечания

1

Любовь навек (фр.).

2

Любовь втроем (фр.).

3

С пяти до семи (фр.).

4

До свидания, милый (искаж. фр.).

5

Белый дом (фр.).

6

Фирменный паштет (фр.).

7

Зажаренные в сухарях (фр.).

8

Счет (фр.).

Table of Contents

[О'Хара Джон Инструмент](#)

[I](#)

[II](#)

[III](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)